

INSPIRIA

18+

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯРИНОВ

РИФ

Р О М А Н

INSPIRIA

Loft. Поляринов пишет

Алексей Поляринов

Риф

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляринов А. В.

Риф / А. В. Поляринов — «Эксмо», 2020 — (Loft. Поляринов пишет)

ISBN 978-5-04-109933-6

В основе нового, по-европейски легкого и в то же время психологически глубокого романа Алексея Поляринова лежит исследование современных сект. Автор не дает однозначной оценки, предлагая самим делать выводы о природе Зла и Добра. История Юрия Гарина, профессора Миссурийского университета, высвечивает в главном герое и абьюзера, и жертву одновременно. А, обрастая подробностями, и вовсе восходит к мифологическим и мистическим измерениям. Честно, местами жестко, но так жизненно, что хочется, чтобы это было правдой. Алексей Поляринов вошел в литературу романом «Центр тяжести», который прозвучал в СМИ и был выдвинут на ряд премий («Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС»). Автор активно ведет блог в «Инстаграме» (4 тысячи подписчиков) и телеграм-канал «Поляринов пишет» (более 8 тысяч подписчиков). Известен как сопереводчик популярного и скандального романа Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-109933-6

© Поляринов А. В., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Кира	6
Ли	18
Таня	29
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Алексей Валерьевич Поляринов

Риф

© А. Поляринов, текст, 2020

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2020

© Palsur, Buternkov Aleksei / Shutterstock.com

Прежде чем перейти под контроль австралийской администрации, обитатели деревень, где свирепствовала (болезнь) куру, практиковали каннибализм. Съесть труп близкого родственника означало выразить ему свое почтение и любовь. Варили мясо, внутренности, мозг; истолченные кости подавали вместе с овощами. Женщины, надзиравшие за разделкой трупов и кулинарными операциями, оказывали этим мрачным трапезам особое предпочтение. Поэтому можно предположить, что они подцепляли болезнь при обработке зараженных мозгов, а затем, посредством физического контакта, заражали своих детей.

Клод Леви-Стросс, «Все мы каннибалы»

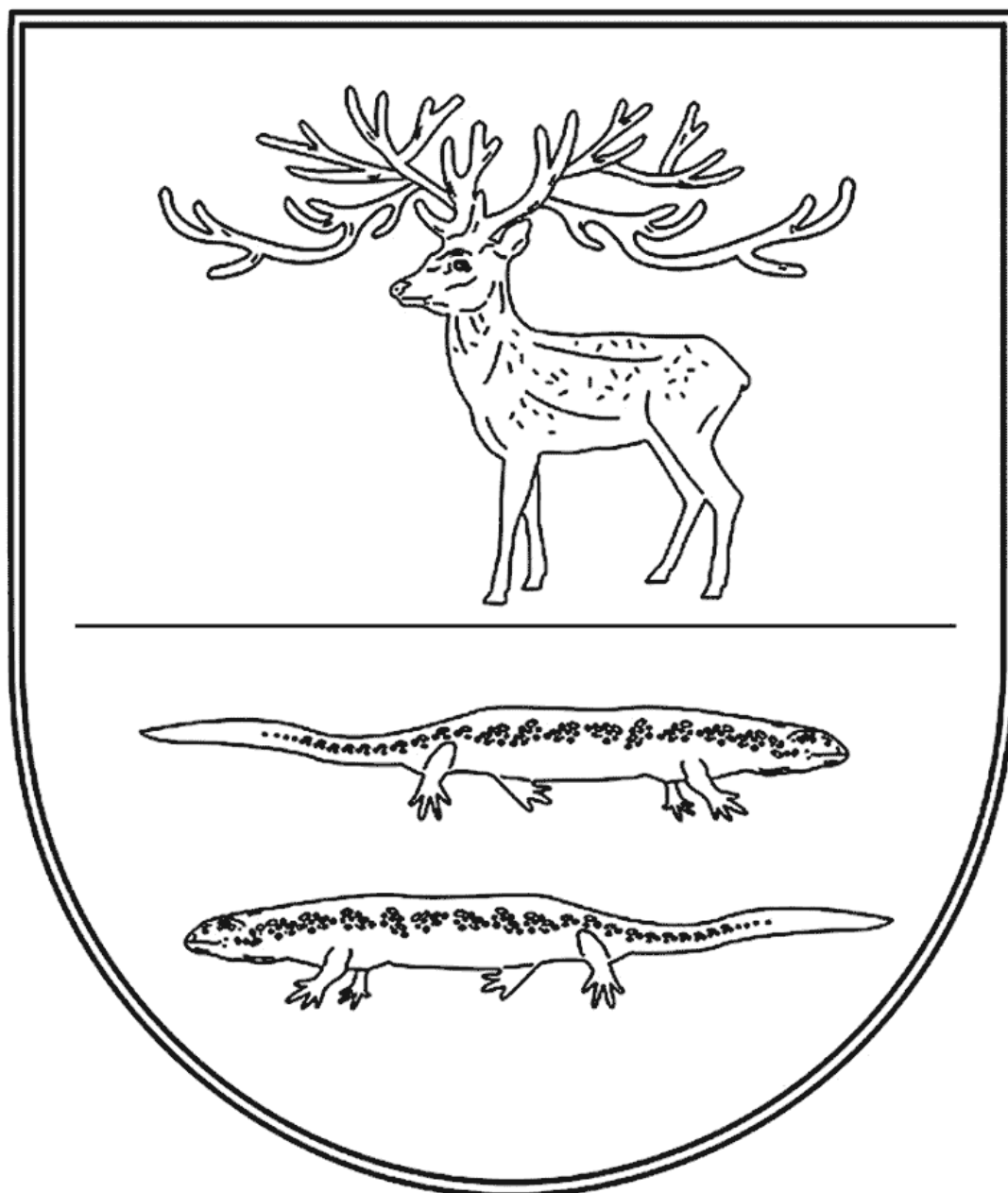
Настоящее дирижирует прошлым, словно музыкантами оркестра. <...> Поэтому прошлое кажется то ближе, то дальше. Оно то звучит, то умолкает. На настоящее воздействует лишь та часть прошлого, которая нужна, чтобы либо высветить это настоящее, либо затемнить его.

Итало Звево, «Самопознание Дзено»

Кира

Строить начали в сорок девятом, земля была мерзлая, киркой не зацепишь, и первой смене пришлось взрывать верхние слои грунта динамитом; одним из взрывов случайно вскрыли подземную линзу льда, древнюю реку, в которой были видны вмержшие в полупрозрачную толщу рыбы и амфибии. Орех Иванович рассказывал, что при детонации по всей стройке разлетелись куски доисторического мяса, мужики собрали их, поджарили на костре и съели, ибо замерзшая во льдах плоть ихтиозавров прекрасно сохранилась. Эту историю Кира слушала, затаив дыхание, хотя и не верила до конца, ей казалось, учитель выдумывает или как минимум приукрашивает реальность, чтобы удержать внимание школьников, которые просто не будут слушать, если в рассказе нет динамита или динозавров. Орех Иванович никогда прямо не говорил, что первыми строителями были заключенные, но из его лекций было ясно, что покорять мерзлоту мужики приехали не по своей воле. Пайка не хватало, и, чтобы не умереть с голоду, рабочие стали ловить тритонов – ходили с ведрами и собирали их, как ягоды или грибы. «Тритонов здесь были тьмы. Особый вид – сибирские углозубы», – пояснял учитель. Уж если кто и заслуживает место на гербе нашего города, добавлял он, так это тритон и олень, потому что именно они – своим мясом и костями – спасли первую смену от смерти. Мужики быстро сообразили, что углозубы зимуют внутри сгнивших деревьев и в верхних слоях почвы, во мхах. Их то и дело находили при корчевании пней. Мяса там было всего ничего, поэтому их бросали в суп, «для бульона». И также с оленями – чуть на север была священная саамская земля, местные называли ее «рогатым кладбищем». Бог знает почему, но животные приходили туда умирать. Очень скоро мужики добыли лук и стрелы, – возможно, сделали сами, а может, обменяли у местных племен на пару динамитных шашек или просто украли, кто теперь скажет? – и иногда ходили к рогатому кладбищу, караулить оленей; затем разделывали тушу и шили из шкур обувь и одежду, а кости бросали в кипящую воду к тритонам и пили бульон.

Когда первая смена закончила работу и от Сулима в 56-м на восток потянулась железная дорога, мужики – те из них, кто ухитрился не умереть, – объявили углозубов и оленей своими тотемными животными. С тех пор хвостатый и рогатый считались покровителями города, и их изображения украшали герб и ворота ГОКа, а матери и бабушки вязали детям свитера с орнаментом в виде сплетенных вместе рептилий и оленьих рогов.



Тритоны были важной частью жизни для всех сулимчан, особенно для школьников. После уроков дети иногда от нечего делать шли в перелесок, раскапывали палками грунт вокруг деревьев и пней, находили углозубов, отогревали и вместе наблюдали за тем, как в теплых руках окоченевшая, неживая мелкая рептилия начинает дергать лапками, шевелиться, как раскрываются ее веки и оживают черные глаза – это было похоже на воскрешение из мертвых. Дети играли с ними, обменивались, давали имена и брали домой, а иногда рассказывали друг другу небылицы о песнях земноводных. Последними полнился детский фольклор. Осенью роза ветров менялась, и карьер начинал издавать звуки, похожие на тихое, многоголосое, тоскливое мычание – движение воздуха внутри его колоссальной архитектуры рождало странные ноты. Одни говорили, что это песни той самой первой смены рабочих – тех, кто не выжил, – их голоса застряли во времени, как рыбы в сети; другие твердили, что это тритоны поют голосами людей.

Однажды Кира тоже нашла углозуба внутри старого пня, завернула в платок, положила в карман и отнесла домой. Отогрела в ладонях, обустроила ему дом в обувной коробке, принесла

коры и мха. Она назвала его Вадиком и иногда разговаривала с ним. Ей нравилось слушать, как он копошится, царапает картонное дно, пытается вырыть нору.

Вадик, впрочем, прожил у нее недолго. Пока она была в школе, мать зашла в комнату и заглянула в коробку. Вечером дома Киру ждал скандал. Мать редко ругалась, но если открывала рот, то так, что дрожали стены, а соседи закрывали уши своим детям. От криков матери Кира сама как будто превращалась в тритона – цепенела, замыкалась, проваливалась в себя; внутри все холодело, и у нее словно вышибало пробки в голове – защитная реакция. Мать замечала это и злилась еще сильнее: «Вот я пытаюсь тебе вдолбить тут, а у тебя взгляд стеклянный! Чего ты мертвую изображаешь?» Мать не была намеренно жестока, она просто все делала шумно и наотмашь – смеялась, говорила, воспитывала дочь.

Тритонов мать отчего-то боялась – так же сильно и глупо, как слоны боятся мышей. Еще она боялась красоты. Или даже не так: красивые, изысканные вещи приводили ее в ужас. Увидев что-то красивое, она тут же в уме считала – сколько оно может стоить; причем считала не в рублях, а в булках хлеба и килограммах мяса. Для Киры ей, в общем, ничего было не жалко: подарки на дни рождения, хорошая одежда, учебники – все это Кира получала, но за красивые вещи всегда расплачивалась тем, что постоянно должна была выслушивать причудливую материнскую математику: «На эти деньги можно год питаться свежими отбивными!», «А это – целых сорок булок бородинского!».

Говорили, что раньше мать была самой завидной невестой в городе, но после сорока – Кира тогда еще училась в начальной школе – мать как-то внезапно постарела, ссутулилась, а над верхней губой выросли черные усики, которые она то ли не замечала, то ли просто не думала, что их замечают окружающие.

Уже «двадцать с гаком» лет мать руководила главной и единственной сулимской поликлиникой при комбинате и страшно гордилась тем, что за эти «двадцать с гаком» лет ее никто не смог подвинуть с должности. Хотя, с гордостью добавляла она, охотники были. Но она их всех переохотила.

Когда Кира окончила школу, мать тут же стала ее пристраивать – сначала в клинику, затем на цоколь. Цоколем здесь называли морг, и туда, как на фронт, мать отправляла стажеров, проверить на стойкость. «По моим стопам пойдешь», – говорила она. Но Кире не нравились материнские стопы, и, более того, на цоколе с ней однажды приключилось странное: было ночное дежурство, она несла в прозекторскую инструменты, и кто-то сзади окликнул ее по имени. Какой-то тонкий, детский голос. Она обернулась, но коридор был пуст. С тех пор она старалась держаться от цоколя подальше, а спустя неделю и вовсе призналась матери, что больше не может работать, потому что длинные клаустрофобные выложенные белой плиткой коридоры ее пугают (о том, что в этих коридорах жил детский голос, окликнувший ее по имени, она умолчала).

– Странная ты, Кирка, – сказала мать. – Как будто кукушка мне тебя подкинула. Ишь че, коридоры ее пугают. Откуда ж ты взялась такая нежная, на Крайнем-то Севере?

Кира поехала в Мурманск и поступила в пединститут и на четвертом курсе вернулась на практику – весной вела уроки у младших классов и помогала Ореху Ивановичу в архиве при библиотеке. Именно там, в читальном зале в марте 1986 года она впервые встретила Титова.

* * *

У всех маленьких отдаленных городов есть одна особенность – сплетни здесь разносятся быстрее, чем сигналы боли по нервным узлам. Вот и в этот раз весть о том, что в городе видели приезжего, судорогой прошла по улицам и лестничным клеткам. Уже на следующий день все знали, что некий товарищ Титов приехал в Сулим собирать информацию о «рабочей демонстрации 2 июня 1962 года». Никто не говорил об этом вслух, наоборот, местные старательно

молчали, но даже в их молчании чувствовалось нарастающее напряжение давно назревшего разговора.

Кира отлично помнила день, когда он появился. Это была ее смена, Орех Иванович ушел на обед, и она сидела одна в читальном зале за стойкой, скрепляла переписные журналы и раскладывала карточки в именном указателе.

Когда Титов зашел в зал, она его сразу узнала – приезжего легко опознать по одежде, особенно если с Большой земли; они всегда одеты слишком хорошо, даже если пытаются сойти за своих. На нем была черная куртка с кучей молний и капюшон с меховым краем; и обувь – коричневые кожаные сапоги, хорошие, новые, с высокой шнуровкой, таких не достать ни в Сулиме, ни в Мурманске.

Он вежливо поздоровался, протянул квитанцию и разрешение с инвентарными номерами. Кира проверила печать и подпись Ореха Ивановича, ушла в хранилище и вернулась со стопкой переписных журналов из архива ГОКа за 1962 год. Титов расписался в получении, сгрузил стопку на телегу и покатила ее между пустыми рядами столов читального зала. Снял куртку и повесил на спинку стула, под ней на нем был шерстяной свитер крупной вязки с высоким воротником. Весь день он провел в зале, сгорбившись над журналами, бормоча что-то себе под нос, делая пометки в тетради – Кира заметила, что он левша, – ни разу не отвлекся, не ел, не пил, даже в уборную не отлучался. И когда Кира подошла сказать, что архив закрывается, он поднял голову и несколько секунд смотрел на нее сонным, ословелым взглядом, словно не мог вспомнить, кто она такая и где он находится.

– Уже шесть, мы закрываемся, – повторила Кира.

* * *

Сулим был город небольшой – двенадцать тысяч человек, девять улиц, тридцать шесть переулков. Проспект имени XX съезда КПСС пронизывал его насквозь с юга на север. К проспекту перекрестками – как ребра к позвоночнику – крепились улицы, названия которых с самого детства вызывали у Киры кучу вопросов. Названия были такие:

Улица имени	1-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица имени	2-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица имени	3-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица Горького					
Улица имени	4-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица имени	5-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица имени	6-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					
Улица имени	7-й	Краснознаменной	танковой	бригады	имени
К.Е.Ворошилова					

Еще будучи ребенком, глядя на карту, она задавалась вопросом: кто мог додуматься до такого – назвать почти все улицы в центре в честь танковых бригад? Есть вероятность, конечно, что в год основания Сулима – 1956-й – танковые бригады были в моде; или, возможно, сами градостроители были большими поклонниками танковых бригад и лично К.Е. Ворошилова. Но даже это объяснение не объясняло того факта, что между третьей и четвертой танковыми

бригадами оказался зажат пролетарский писатель Максим Горький. Вот так и выходило, что карта Сулима была одновременно похожа на абсурдное стихотворение и – если проявить фантазию, – на перевернутый скелет великана. В области «копчика» у него располагался автовокзал, из «горла» тремя трубами торчали ГОК и прилегающая к нему железнодорожная станция, из которой раз в неделю на Большую землю отправлялись груженные рудой составы – и грохотали так, что в квартирах на Первой Краснознаменной бряцала в сервантах посуда. Роль «головы великана» на карте исполнял карьер – огромная дыра в мерзлоте диаметром 1,6 км.

В школе Киру учили, что название города происходит от фамилии великого советского геолога Ивана Петровича Сулима, который в 1933 году обнаружил в Мурманской области одно из самых крупных в мире месторождений железной руды. Горно-обогатительный комбинат – сокращенно ГОК – проектировали уже без него, но по его заветам. В местном ландшафте ГОК был самым большим и впечатляющим строением – помимо карьера, разумеется, – и, пожалуй, одной из главных его достопримечательностей. Огромные серые трубы, торчащие из лесотундры Заполярья.

На площади напротив администрации стоял памятник Сулиму, который местные называли просто «голый мужик». Неизвестный скульптор изобразил великого советского геолога в виде огромного мускулистого героя. Он был похож на Самсона, разрывающего пасть льву. Только вместо львиной пасти в руках он держал огромный молот, которым забивал в вечную мерзлоту первую сваю.

Киру с детства беспокоило отсутствие на Сулиме одежды. Это же просто нелепо – в таком виде геолог никак не мог открыть месторождение руды, потому что умер бы от переохлаждения и пневмонии. Будь он хоть дважды полубог, думала она, когда на улице минус пятьдесят, без шерстяных колготок и теплых носков не обойтись.

Памятник многим не давал покоя. Возможно, потому что был, по сути, единственным произведением искусства в городе [если не считать мозаику на потолке в зале ожидания на вокзале, но об этом позже]. Очевидная, кричащая сексуальность железного Сулима сыграла с ним злую шутку: уже в шестидесятых словосочетание «забить сваю» у местной молодежи стало означать «заняться сексом».

Карьер для всех здесь был главным местом паломничества. Дети приходили сюда слушать песни тритонов или играть – в прятки, в войну, подростки – «забивать сваи», взрослые – в основном выпивать или напиваться. Огромный, овальный, похожий на кричащий от боли рот, карьер был единственным местом в округе, где можно было ощутить масштаб и грандиозность мира. Кира тоже любила приходить сюда, разглядывать тектонические слои пород; «память Земли» – так называл их Орех Иванович.

Орех Иванович, конечно же, на самом деле был Олегом. «Орехом» его прозвали школьники – бугристая, лысая, смуглая голова его напоминала скорлупу грецкого ореха, отсюда и прозвище. О прозвище он знал и относился к нему с юмором – и даже сам себя иногда так называл ради смеха. Он вообще был человеком беззлобным, а голос если и повышал, то разве что в пылу азарта, когда рассказывал детям истории об углозубах, оленях и гербе Сулима. Поэтому Кира удивилась, когда впервые услышала в его голосе раздражение – он был ужасно недоволен тем, что кто-то с Большой земли вот так открыто приехал копать в архивах. Сперва Кира решила, что Орех Иванович злится на чужака, но очень быстро поняла, что все гораздо сложнее, – он всерьез беспокоился за его безопасность.

В следующий раз Кира встретила Титова уже на улице – вышла из библиотеки на площадь перед ГОКом и увидела его. Он стоял возле здания администрации и смотрел куда-то вниз, то ли брусчатку разглядывал, то ли собственную обувь. Даже со спины было видно, что он нездешний – плечи держит не так, стоит как-то неправильно. Кира сначала прошла мимо на остановку, но любопытство победило – вернулась.

– У вас все хорошо?

– А-а? – он обернулся на нее.

– Вы вот так стоите уже пять минут. Я просто подумала...

– А, да, – он улыбнулся, – задумался. Смотрю вот на табличку.

Он показал. Кира увидела в брусчатке, прямо в одном из камней табличку с гравировкой – два столбика имен и дата.

Бабулин Анатолий Николаевич
Величкин Владимир Сергеевич
Виноградов Иван Иванович
Волосков Владимир Михайлович
Груздев Алексей Михайлович
Гущин Станислав Сильвестерович
Дзюба Петр Тихонович
Жиленков Андрей Михайлович
Зеленин Евгений Ильич
Китце Нина Иосифовна
Копелев Лев Александрович
Леонов Иван Павлович
Лиманцев Федор Георгиевич
Мазанов Василий Александрович

Мешков Григорий Федорович
Новиков Алексей Иванович
Пирогов Алексей Валерьевич
Пирогов Леонид Валерьевич
Пирогов Валерий Павлович
Поденица Александр Осипович
Предник Эрнст Генрихович
Ревзин Михаил Семенович
Розенталь Карл Карлович
Савченко Иван Акимович
Строганов Иван Семенович
Тихомиров Алексей Яковлевич
Тюрин Иван Васильевич

2 июня 1962 года

Кира еще раз перечитала имена и огляделась, окинула взглядом площадь. Она сотни, тысячи раз ходила здесь, возможно, даже наступала на эту табличку, но ей и в голову не приходило, что тут есть табличка с именами. Впрочем, неудивительно, подумала она, ее как будто специально вбили в брусчатку именно здесь, на краю, – чтобы спрятать. Площадь уже давно была «захвачена» другим монументом – «голым мужиком», установленным в самом центре, – и всей своей кричащей, вызывающей обнаженностью он умножал невидимость окружающих объектов. Кроме него на общем фоне блеклых типовых пятиэтажек выделялось разве что здание администрации – в его фасаде чувствовался замысел, прикосновение архитектора, хотя Кира и не смогла бы сказать, что это за стиль.

Она еще раз перечитала имена на табличке. Титов молча стоял в стороне, сунув руки в карманы.

– В школе нас водили сюда на экскурсию, но я совершенно не помню эту табличку. – Она помолчала, обернулась на Титова. – Олег Иванович называет вас «безрассудным молодым человеком».

– Не очень-то молодой. Мне почти сорок.

– Вы не знаете Олега Ивановича. Для него все, у кого на голове есть волосы, – молодые.

Он улыбнулся.

– А безрассудство – оно тоже как-то с волосами связано?

– Нет. Просто к нам редко с Большой земли приезжают. А вы еще и книгу пишете.

– Откуда вы?...

– Это Сулим. Местные узнали, кто вы и зачем, как только вы проехали стелу на въезде, – она показала рукой в варежке на север, в сторону автовокзала. – У нас есть выражение: местный слышит шаги чужака за версту.

– Это правда?

– Нет. Просто присказка. Но слухи разносятся быстро.

Титов достал блокнот, карандаш и записал, бормоча себе под нос: «...шаги чужака за версту».

– Про шапки, вы, наверно, уже и сами знаете, – сказала Кира.

– Про какие шапки?

– Вы уже неделю тут и еще не слышали про шапки?

– Нет, а что с ними?

– Ну это такая известная шутка: когда в городе чужак, все сулимчане надевают шапки.

Он смотрел на нее, ожидая продолжения, и она, удивляясь его недогадливости, шепотом подсказала:

– Вы должны спросить «зачем?».

– Зачем?

– Чтобы чужак не видел у них на головах следы от спиленных рогов.

Титов нахмурился, пытаясь, видимо, сообразить, в чем соль.

– Ладно, не берите в голову, – Кира махнула рукой. – Это шутка для местных, позже поймете.

Титов вновь достал блокнот и записал: «...от спиленных рогов».

– Что вы хотите найти? – спросила Кира. – Ну, в архивах?

Он убрал блокнот и карандаш в нагрудный карман, застегнул молнию.

– Я думал, вы все обо мне узнали, как только я проехал стелу на въезде. – Она серьезно посмотрела на него, и он, вздохнув, показал на табличку в брусчатке. – Я здесь из-за них. Хочу знать, кто они. И написать их историю. Уже неделю тут околачиваюсь и заметил одну закономерность: единственное, что местные знают про бунт 62 года, – это то, что он был. Больше ничего. Вот вы, например? Можете что-нибудь рассказать?

Кира открыла было рот, чтобы ответить, но осеклась – с удивлением поняла, что не знает ответа.

– Сколько их было – бунтарей? – продолжал Титов. – Из-за чего они бунтовали?

Она растерянно смотрела на него. Благодаря Ореху Ивановичу историю Сулима она знала вдоль и поперек – начиная с даты приезда первой геологической экспедиции на саамские земли и заканчивая тритонами на гербе. Но бунт в ее памяти оказался белым пятном – и это для нее самой стало неприятным открытием.

– Расскажите мне, – пробормотала она.

– Что?

– Расскажите, что сами знаете? Мне интересно.

Титов пару секунд разглядывал ее лицо, словно не верил, что кто-то из местных может попросить его о таком. Потом кивнул, взял ее за руку – и это первое, что ее удивило; то, как легко он относился к ее личному пространству; мог вот так просто взять ее за руку, – и вывел в самый центр площади, под памятник Сулиму.

– 31 мая 1962 года, – начал он, – по радио объявили о повышении цен на масло и мясо. Почти на треть. 1 июня по всей стране, в том числе здесь, в Сулиме, начались волнения. Люди вышли на площадь. «Мясо, масло, деньги» – такой у них был лозунг.

Голос Титова изменился – говорил он теперь тоном лектора, было ясно, что этот текст он проговаривал много раз.

– Рабочие собрались на этой самой площади и стали звать «на разговор» главу администрации, Сенникова. Им сообщили, что Сенников в Мурманске и придет завтра. Мне неизвестно, правда ли это, или администрация просто пыталась выиграть время. Через сутки в город въехали два грузовика с военными и несколько черных машин. Появились люди в коричневых плащах, явно неместные. Опять же, я знаю об этом со слов всего двух свидетелей. Один из них утверждает, что 2 июня рабочие снова пришли сюда, на площадь, «на разговор», как они сами выражались. Их встретила шеренга солдат с автоматами. Их попросили разойтись, но они остались. Их попросили еще раз. И они снова отказались. – Титов замолчал, посмотрел на Киру. Кира поднялась по ступенькам к дверям администрации, обернулась, оглядела площадь, представила себе сотни рабочих, а напротив них, на ступеньках, – шеренга солдат.

– И что, вот так просто? Начали стрелять по людям?

– Не знаю. Может быть, рабочие стали напирать, кричать что-то. Двадцать семь убитых. Сколько раненых – до сих пор неизвестно.

Титов стоял на ступеньках и вместе с Кирой оглядывал промерзшую площадь, по которой справа налево шагали два человека и иногда озирались – заметили нездешнего.

– Самое страшное произошло с теми, кого ранили. Той же ночью в больницу и в морг пришли люди, «одетые не по погоде», – Титов махнул рукой в сторону поликлиники. – Один из выживших, Дмитрий Игнатьевич Шорохов, на площади получил пулю в плечо и пришел в больницу. Ему повезло, ночью его растолкала медсестра и сказала, чтобы лез через окно, – о нем уже спрашивали чужаки. Он и вылез, и несколько дней прятался в сарае у тещи, слушал радио, а там – везде молчок, даже на местных волнах. Когда увидел, что к тещиному дому подъезжает черная машина, решил, что надо уходить. И буквально пешком, через тайгу дошел до границы с Финляндией. Двадцать километров.

Как и всех местных, Киру раздражало, что приезжие не отличают тайгу от лесотундры; она хотела было поправить Титова, но промолчала.

– Шорохов был охотник, знал места, людей, умел выживать. – Титов вздохнул. – Он был одним из первых, от кого я услышал о «сулимской бойне».

– Надо же. «Сулимская бойня»? Это так теперь называется?

Титов покачал головой, снова взял ее за руку.

– Идемте.

Они спустились с крыльца здания администрации и направились к автобусной остановке.

– Сначала я не поверил ему. А потом нашел еще одного свидетеля. Женщину, которая несколько лет отсидела за то, что была на той демонстрации.

– Куда мы идем?

– К карьру.

* * *

Кира поражалась тому, как хорошо Титов знает город. Даже дыры в бетонном заборе – и те знает. Пока шагали через перелесок, он продолжал:

– Одиннадцать человек забрали прямо из больницы. Забрали трупы из морга. Прошлись по квартирам, сколько взяли там – мне неизвестно. Забрали всех и повезли на карьер. На грузовиках. Вам нехорошо? – вдруг спросил он. – Вы как-то побледнели.

– Нет, все нормально, – она покачала головой. – Продолжайте.

Они вышли к карьру.

– Я закурю, ничего?

Титов достал из внутреннего кармана пачку, вытащил зубами сигарету. Спрятал огонек спички в ладонях. Закурил, затянулся, выдохнул.

– Вот здесь сложнее. У меня мало данных. Дмитрий Игнатьевич говорит, что, пока прятался в сарае у тещи, слышал разговоры на улицах о том, как людей расстреляли возле карьера, как зачинщиков бунта. Но их не расстреляли. Вера Ивановна – второй мой свидетель – утверждает, что была среди тех, кого везли к карьере.

Кира медленно опустила голову, села на холодную землю.

– Вам плохо?

– Продолжайте.

Титов протянул ей сигарету. Она покачала головой.

– Нет, спасибо, я не курю. Что было дальше?

– Два грузовика, больше десяти человек раненых. Больше двадцати трупов. За ними – две легковые машины, – он показал пальцем. – Вот по этой дороге. Свезли вниз и стали выгонять из машин. Долго совещались, минут пять-десять, а потом кто-то из вояк сказал: «Повезло вам сегодня». И рассмеялся. Все выжившие отлично помнят его смех, веселый и радостный, как будто рассказал отличный анекдот.

– Они передумали?

– Не знаю. Может, пока ехали, приказ изменился. – Титов смотрел вдаль. – Или другая версия: акция устрашения, – пробормотал он, – чтобы сделать бывшее небывшим, необязательно убивать.

Внутри карьера завыв ветер. Пару минут Кира молча смотрела на грунтовые срезы, потом спросила:

– Вы не ответили на вопрос: почему вы здесь? Это что-то личное?

Он вздохнул, шмыгнул носом.

– Это моя работа. – Он посмотрел на нее и вдруг осекся. – Хватит на сегодня. На вас лица нет.

Кира разглядывала его, и вдруг до нее дошло, что он уже минут десять курит одну сигарету. Творилось странное: серый цилиндр сигареты с огоньком на конце не уменьшался, а, наоборот, рос, и дымок шел не вверх, а вниз, как бы втягивался обратно. Сулимские школьники любили травить байки о том, что железистый грунт карьера изгибает не только магнитные поля, но и самую реальность – и иногда рядом с карьером время как будто схлопывается, идет складками, волнами – и ты видишь несколько событий одновременно. Кира всегда думала, что это просто рассказы, плод буйной детской фантазии, но сейчас своими глазами наблюдала за сигаретой, которая «курилась в обратную сторону».

Она смотрела на Титова, ее бил озноб. Мир вокруг стал подробным и болезненно-четким как галлюцинация. Он стоит на самом краю, подумала она. Под ним – пропасть, до ближайшего серпантина падать метров двадцать, не меньше. Я могу просто протянуть руку, вот так, совсем чуть-чуть – и он упадет. И никаких свидетелей. Оступился. Бывает.

Она тряхнула головой. Почему я думаю об этом? Это не мои мысли.

Реальность тем временем возвращалась в норму, что-то опять изменилось в воздухе, и сигарета наконец подчинилась законам физики и начала гореть, уменьшаться, как все нормальные сигареты.

– Отойдите от края, – сказала Кира. – Вы очень опасно стоите.

* * *

Утром на юге грохнуло, задребезжали окна. Мимо дома проехали сирены «Скорой» и пожарных. К девяти все местные уже знали – в ГОКе на производстве рванул баллон, один человек погиб, пятеро с ожогами.

Через три дня были похороны. Погибший жил на Горького, проститься с ним пришли все соседи, Кира тоже была и, стоя в толпе, увидела Титова. С тех пор как он приехал, все в городе были на нервах – и в каждой ссоре и аварии винили нездешнего. Особенно злилась мать:

– У нас сердечников знаешь сколько? Очередь – километр! Обострение у всех, никогда такого не было, чтоб одновременно. Это все он, говорю тебе.

Спустя два дня Титов снова явился в архив в ее смену, и, выдавая ему папки с делами, она рассказала про очереди в поликлинике и обострения.

– Серьезно? – Он улыбнулся. – Вы тоже так считаете?

– Как?

– Что это из-за меня?

Кира пожала плечами.

– Ну, до вашего приезда жалоб было в три раза меньше. Это статистика.

– Post hoc ergo propter hoc, – пробормотал он, – уверен, есть и более логичное объяснение, – взял было папки, но тут же положил назад и посмотрел ей в глаза. – Скажите, а вы до скольких сегодня работаете?

Кира посмотрела на календарь на стене.

– Сегодня сокращенный день. До четырех.

– Дело в том, что, эммм, – он замялся, – мне сказали, что тут есть какое-то кладбище. Типа священной земли или что-то такое.

Кира кивнула.

– Рогатое кладбище, да. Но местные туда не ходят.

– Почему?

Она вздохнула, прекрасно понимая, как глупо прозвучат ее слова:

– Суеверные. Боятся.

Титов кивнул, почесал лоб.

– А как оно выглядит вообще?

– Ну как. Просто поле, а на нем скелеты оленей.

Он вскинул брови.

– Черт возьми, я хочу это увидеть!

– Не очень хорошая идея.

– Почему?

– Мальчишки у нас в школе храбрились всегда, кто пойдет туда ночью. Один сходил, потом чуть не умер от пневмонии.

– Я тоже хочу.

– Что, умереть от пневмонии?

– Нет, хочу увидеть. Вы можете меня провести?

Кира покачала головой.

– Шутите? Нет, конечно.

– Да бросьте вы, это же просто нечестно. Приехать на край света и не сходить на кладбище оленей?

Она точно не помнила, почему согласилась. Возможно, Титов был очень убедителен, а может, он ей просто нравился; или – ей нравилось, что из всех местных он общается именно с ней; ей это льстило. И все же, пока шли, у нее неприятно потягивало в груди – слишком силен был привитый еще в детстве страх перед рогатым кладбищем. У школьников в Сулиме была целая мифология, тысяча и одна история о землях шаманов. Сильнее всего ее пугал рассказ о мальчике, который однажды взял с кладбища оленьи рога, чтобы дома повесить на стену как украшение. Спустя три дня соседи сверху заметили, что сквозь линолеум в полу к ним в квартиру пробиваются какие-то желтоватые костяные наросты. Вызвали милицию, а те – слесаря; вскрыли дверь, а за ней страшное. Мальчик лежал в постели, и из его головы росли

огромные, невероятные рога; они причудливо и бесконечно ветвились и пробивались сквозь стены и мебель, пронзали все на своем пути – бетон, дерево, металл. Пока мальчик спал, растущие рога заполнили собою всю квартиру и проросли в спальню родителей и пронзили их насмерть. Мальчик был жив, спасатели спилили рога болгаркой, достали его из рогатого плена и отвезли в больницу. Но стоило ему прийти в себя и вспомнить, что случилось, рога вновь начали бешено расти и пробивали стены, потолки и людей насквозь легко, как бумагу.

Кира прекрасно понимала, что это просто школьная страшилка, но в детстве, услышав ее впервые, она очень долго боялась уснуть. Она сходила однажды на кладбище с пацанами – все туда ходили, чего уж, – и с тех пор иногда, просыпаясь, осторожно трогала голову – нет ли рогов.

– А с мальчиком что в итоге? – спросил Титов.

– Ой, у нас была куча концовок, – сказала Кира. – Одни говорили, что его сбросили в карьер, чтобы задобрить богов тундры, другие – что ученые забрали его на Большую землю для экспериментов. Но мне всегда нравилась концовка с шаманом. В больницу пришел шаман и долго разговаривал с мальчиком и показал ему, как сбрасывать рога. Для этого нужно было научиться забывать. Шаман утверждал, что рога растут из головы, потому что в голове живет память, и если ты научишься забывать, рога отсохнут и отвалятся, им неоткуда будет брать силы и материал для роста; еще он говорил, что рога – это отличное оружие для защиты от волков, но иногда они вырастают слишком большими, притупляются и начинают тяготить голову, и тогда их необходимо сбросить и отрастить новые – это вопрос выживания и обновления.

Титов достал из внутреннего кармана куртки блокнот и карандаш, снял перчатки и прямо там, в поле, записал ее историю.

Кладбище было отлично заметно издалека – отполированные ветром, холодом и временем кости четко виднелись на фоне коричнево-зеленого пейзажа.

– Господи, сколько же их тут, – пробормотал Титов.

Одни уже обглоданы хищниками, другие истлели и выглядят как картинки из учебника биологии, третьи умерли год или два назад, и их еще не успели обглодать падальщики – на них висит плешивая шерсть; кто-то умер недавно и всю зиму пролежал обмороженный, а теперь начал оттаивать; кого-то растащили волки и склевали птицы, а кем-то побрезговали.

– Невероятно, – прошептал Титов. Он осторожно шагал между горами костей и полуистлевших туш. Обернулся. Кира стояла вдали, на самом краю кладбища.

– Вы идете?

Она покачала головой.

– Туда нельзя.

– Да бросьте, я же осторожно.

– Я серьезно, туда нельзя. Не трогайте ничего, ладно?

– Нет, правда, почему никто их не забирает. Все эти рога, они ведь кучу денег должны стоить, нет?

Кира покачала головой.

– Денег стоят только панты – это «живые», молодые рога. У них другая структура и внутри капилляры, кровообращение, а сверху они покрыты нежной кожей. Когда олень умирает, его рога усыхают и костенеют. Вот эти, например, видите, желтые, как зубы у старика, их не продать. Мертвые рога никому не нужны.

Титов искоса смотрел на нее, улыбнулся.

– А вы, я смотрю, разбираетесь в рогах.

Кира пожала плечами.

– Я здесь выросла.

Минут пять – или, может, больше – Титов ходил кругами, восторженно что-то шептал и приговаривал. Кира смотрела на него, съежившись, так, словно он шагал по минному полю, и ждала, когда он нагуляется и вернется.

И тут он снял перчатку и прикоснулся к рогу, проверил пальцем остроту. И позже – много позже – она иногда вспоминала тот день и думала, что, возможно, именно это прикосновение и стало причиной всех ее бед.

Ли

Их привезли в полдень и оставили в пустыне. Вокруг – неровный шов горизонта, видны только хижина и лопасти ветряной мельницы вдаль. В 1977 году художник Уолтер де Мария установил здесь, в Нью-Мексико, «Поле молний» – четыреста громоотводов из нержавеющей стали на территории длиной в одну милю и шириной в один километр.

Ли взяла с собой диктофон, фотоаппарат, тетрадку и карандаш – ехала собирать материал для исследования, – но за все время поездки не написала ни слова.

Сотрудник фонда Dia Art Foundation привез ее и еще пять человек в микроавтобусе, вручил ключи от хижины и укатил обратно, в Квемадо, предупредив, что вернется завтра в то же время. Это одно из условий – ты не можешь просто увидеть скульптуру, ты должен провести с ней сутки, так решил автор. Изоляция – одна из основ ленд-арта, весь смысл в том, чтобы взаимодействовать с произведением искусства на протяжении длительного времени, желательно в одиночестве. Очень похоже на чтение книги.

Попав на «Поле молний», турист сначала неизбежно испытывает разочарование – он полтора часа едет в пустыню, чтобы что? Чтобы увидеть вбитые в грунт двадцатифутовые столбы из нержавеющей стали. Но штука в том, что так и задумано – искусство минимализма стремится к невидимости, оно работает не только с материалами, но и с вниманием зрителя.

Тем более это ведь не просто столбы. Это громоотводы. Расставленные в строгом порядке в соответствии с замыслом автора – 25х16, миля на километр, де Мария специально столкнул две измерительные системы; свое искусство он собирает из отрезков – пространственных и временных.

В том же 1977 году он создал еще одну свою программную скульптуру – «Вертикальный километр земли»: в немецком городе Кассель на площади перед музеем Фридрицианум специальная команда в течение месяца бурила землю; затем в отверстие вбили составной латунный «гвоздь» длиной ровно в один километр. Подвох в том, что увидеть скульптуру невозможно – она целиком под землей; на поверхности – только круглый пятак диаметром два дюйма. Чтобы оценить замысел автора, зрителю необходимо совершить над собой усилие – победить сомнение, поверить в то, что там, под землей, действительно километровый латунный «гвоздь». А дальше возникает целая куча сопутствующих вопросов: возможно ли вообще представить себе километр? А также: километр – это сколько? Автор испытывает воображение и веру зрителя на прочность.

Солнце медленно уходило к западу, громоотводы отбрасывали тени – длинные, тонкие и синхронные, похожие на сотни солнечных часов.

И тут – что-то стало меняться. Подул сильный ветер, и столбы завибрировали, воздух наполнился гулом. У Ли во рту в верхней пятерке заныла пломба.

– Вы тоже чувствуете? – спросила она, но остальные туристы уже разбрелись кто куда по полю и были слишком далеко. – У меня пломба в зубе гудит, – сказала Ли самой себе.

Начался закат – оранжевый, красный, – и стержни стали отливать золотом.

Ли много читала о том, какие странные штуки иногда здесь происходят – при приближении грозы на концах стержней появляются «огни святого Эльма» – разряды коронного электричества, кисточки тока, и воздух потрескивает от напряжения. Скульптурная композиция буквально притягивает грозу.

Она уже год писала диссертацию о де Марии и знала, что вера и ритуал – очень важные элементы его искусства, но до сегодняшнего дня не понимала насколько. Ее бил озноб, в груди появилось тянущее ощущение. Она услышала раскаты грома вдаль и огляделась – но в небе не было ни облачка. Звуки грозы приближались, и Ли стало тревожно, во рту появился металлический привкус; у нее затряслись руки, она хотела позвать на помощь, открыла рот

и не смогла произнести ни слова. Последнее, что она помнила, – вспышки света, похожие на шаровые молнии...

* * *

Детство Ли прошло в крошечном городке Шаллотт, штат Северная Каролина, рядом с национальным парком «Шаллотт ривер свомп», в котором ее мама, ихтиолог по образованию, уже много лет следила за популяцией аллигаторов. Профессия, прямо скажем, весьма экзотическая, из-за чего в школе у Ли бывали проблемы – ее истории о маме звучали так, словно она их выдумывает, чтобы произвести впечатление. Однажды на уроке она рассказала, как зимой на кипарисовых болотах аллигаторы вмерзли лед, высунув носы над поверхностью, чтобы дышать, и до весны впали в спячку; мама каждый день устраивала обход, следила за их состоянием. Никто не верил рассказам Ли, и она обижалась – она-то знала, что говорит правду, своими глазами видела торчащие из льда носы и зубы рептилий. Ли очень любила наблюдать за мамой на работе и в раннем детстве даже выпросила себе куртку смотрителя, ярко-зеленую, с красным логотипом парка на спине; куртка была ей велика и доходила до колен, а рукава приходилось закатывать, но она все равно гордо ходила в ней и до пятнадцати лет была уверена, что тоже станет ихтиологом.

В парке среди коллег мать была звездой, Ли часто слышала рассказы о ее храбрости, например о том, как однажды она спасла жизнь туристу, который вылез за пределы «разрешенной тропы», чтобы сделать эффектный снимок, и не заметил в мутной воде аллигатора; аллигатор меж тем вполне заметил туриста и рванул в его сторону да и утащил бы в болото, если бы не мать Ли, которая – если верить свидетелям, – возникла у него на пути и, раскинув руки, охрипшим голосом заорала: «А ну п-шел вон, поганец!» – словно обращалась к псу, затем указала пальцем на болото: «Вон, я сказала!» – и огромная рептилия как-то медленно и обиженно развернулась и скрылась в воде.

Таких историй Ли слышала достаточно, и потому ей всегда было странно наблюдать за мамой дома. В быту, без формы и жетона сотрудницы национального парка мама как будто перевоплощалась в другого человека – сентиментального, нервного и беспомощного. Она могла расстроиться из-за ерунды – например, если случайно сжигала тосты, пытаясь приготовить завтрак. Еще она очень любила романы «про любовь», ну, те – в ужасных ярких обложках, на которых мужчины в порванных рубашках целуют в шею загорелых и полуодетых женщин; почти каждый день мама брала один в местной библиотеке и читала взахлеб и часто с удовольствием плакала над ними.

Неискушенность матери поражала Ли с самого детства. Она не понимала, как в одном человеке могут уживаться два таких разных характера: сосредоточенный и бесстрашный ученый-ихтиолог и рыдающая над бульварными романами простушка. Плюс еще эта ее привычка – по-детски радоваться мелочам и восхищаться всякой ерундой:

– Господи, как же вкусно! Ты только попробуй!

– Мам, это просто тост.

– Да, но именно сейчас он особенно вкусный.

Однажды в школе учитель дал детям задание нарисовать генеалогическое древо своей семьи. Так Ли выяснила, что мама – дочь мигрантов. Точнее, нет, не так – она, конечно же, знала, что девичья фамилия мамы «Горбунова», но никогда раньше об этом не задумывалась. А теперь выяснила, что ее бабушка, Ева Борисовна Горбунова, за свою жизнь умудрилась эмигрировать дважды: сначала из послереволюционной России в Германию – ей было три, и, как гласит семейная легенда, ее родителям пришлось спрятать ее в чемодане, чтобы втащить на борт парохода; затем в 1936-м уже с мужем Ева Борисовна сбежала во Францию, а потом как-то все же перебралась в США. О бабушке мама рассказывала с удовольствием – особенно о том,

как в 1918 году ее, трехлетнюю, засунули в чемодан и контрабандой пронесли на пароход, – а о себе говорила неохотно: первые годы в Америке были нерадостные – сначала жили в пригороде Нью-Йорка, где тараканы были размером с крыс, крысы размером с кошек, а кошек не было вовсе, потому что крысы их съели; затем бабушке предложили работу в национальном парке, и они с мужем и дочерью – будущей мамой Ли – перебрались в Северную Каролину. Жили бедно и как-то не очень весело, страсть к биологии ей опять же привила бабушка, которая еще в Германии, кажется, работала в зоопарке, а еще, когда ей было три, родители затолкали ее в чемодан и протащили на борт парохода...

Тут надо сказать, что мама была ужасным рассказчиком – вечно сбивалась, путалась в датах и именах, отвлекалась, ходила кругами и постоянно забывала, на чем остановилась и что хотела сказать.

– А дедушка?

– Какой дедушка?

– Да мой, мой дедушка. Какой он был?

– А, ну, дедушка был мастер на все руки. Он же нам целый дом построил. Я разве не говорила? Кажется, я рассказывала.

– Нет, не рассказывала.

– Точно?

– Точно.

– Хм, я была уверена...

– Мама!

– Ладно-ладно, дом. Дом был вон там, чуть на север, – она указала рукой, – на пустыре, что за Пятой улицей. Я в нем родилась.

– И что с ним стало?

– С кем? С дедушкой?

– С домом, ну.

– Да ничего, сгорел он. Говорю же, там теперь пустырь.

Ли было тринадцать, и она была любопытным ребенком – пошла на пустырь, хотела увидеть место, где когда-то стоял построенный дедом дом и в высокой траве не увидела доски, прикрывавшие заброшенный коллектор. Она пролетела два с половиной метра и упала на гору битого кирпича. Рентген показал переломы левой ступни и предплечья – поразительно, что остальные кости не пострадали, в остальном лишь синяки и ссадины, – и дальше, пока ступня и предплечье срастались, полгода она провела взаперти, почти не выходя из комнаты. Телик ей быстро надоел, она перешла на книги и с удивлением обнаружила, что ей ужасно нравится читать. У матери на полках стояли многотомники Толстого и Чехова, которые ей давным-давно подарили какие-то дальние в третьем колене родственники из России, «чтобы не забывала корни». Ли прочла русских классиков и далее переключилась на американскую школьную программу, а спустя еще два года, окончив школу и сдав SAT, удивила всех – и себя в том числе, – когда вместо ихтиологии выбрала литературу и поступила в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC), и уже там, на третьем или четвертом курсе – опять же совершенно случайно – увлеклась концептуальным искусством. Один из приятелей рассказал ей об Уолтере де Марии, художнике, который в 1961 году создал скульптуру под названием «Коробки для бесполезной работы». Она прочла о де Марии несколько статей, и это, по ее собственному признанию, «была любовь с первого перформанса»; за год перепахала все возможные материалы об искусстве минимализма и, выбив грант на исследования, отправилась в путешествия по пустыням – сначала в Мохаве, чтобы увидеть «Рисунок длиной в милю», затем в Нью-Мексико – на «Поле молний».

Ли никогда не жаловалась на здоровье – у нее не было ни мигреней, ни эпилепсии, ни галлюцинаций; только ступня и предплечье иногда ныли, особенно осенью, откликаясь в холод-

ную, сырую погоду. Но там, на «Поле молний», с ней что-то произошло – она услышала звуки грома и увидела вспышки; проблема была в том, что слышала и видела их только она одна. То, что она испытала, сложно описать – ее охватило страшное предчувствие, ощущение близости конца света.

Ли не была верующей и до поездки на «Поле» особо не задумывалась о вопросах религиозного характера. Внезапный пограничный опыт в пустыне заставил ее изменить тему работы. Ей стало интересно, сколько еще людей испытали то же, что и она – и что именно они чувствовали? И были ли такие люди? Ей удалось найти двадцать человек, побывавших на «Поле» за последний год, девять из них согласились пройти серию тестов. Расходы и организационные трудности взял на себя институт – предприятие вписывалось в национальный студенческий проект исследований в области когнитивной нейробиологии. Испытуемые ложились в аппарат МРТ, а Ли по громкой связи разговаривала с ними. Когда речь заходила об опыте и ощущениях, испытанных там, в пустыне с громоотводами, на экране она замечала схожие закономерности – у большинства участников эксперимента понижалась активность нижней теменной доли – области, которая отвечает за восприятие своего тела в пространстве и чувство самоконтроля, а также – за зрительно-пространственное восприятие окружения.

Свой опыт Ли описала в статье «Искусство минимализма и религиозное откровение» и осенью 1995 года опубликовала статью в журнале *Cerebral Cortex* – огромное достижение для двадцатидвухлетней аспирантки. Спустя еще полгода она нашла в почтовом ящике конверт с университетским гербом – официальное приглашение. Увидела слово *Columbia* – и сердце в груди замерло, пропустило удар. Радость, впрочем, была недолгой – вчитавшись, она поняла, что речь не о Колумбийском университете в Нью-Йорке; ее приглашали в другую Колумбию – город в штате Миссури. Ей писал некто Юрий Гарин, профессор антропологии Миссурийского университета. Ее статья и размышления о связи теменной доли с религиозными откровениями произвели на него впечатление, и он предложил ей прочесть лекцию для магистрантов с его кафедры. Все расходы на проезд, размещение и прочее университет берет на себя.

Ли тут же бросилась собирать вещи. Летать она боялась, решила добираться автобусами – настоящее путешествие, больше суток в дороге, 920 миль, сквозь Западную Вирджинию и Кентукки – увидеть Лексингтон, Луисвилл, потом Сент-Луис, и оттуда прямой двухчасовой маршрут до Колумбии, который оказался самым тяжелым, – в Миссури той весной стояла аномальная жара, и кукурузные поля вдоль дорог желтели и чахли под палящим солнцем, в полупустом салоне автобуса было невероятно душно, Ли была в шортах, и ее ноги на протяжении всего пути неприятно липли к разогретому кожаменителю сиденья.

И вот она в Колумбии, со старым чемоданом, одно колесико которого (левое) при движении издавало тонкий, комичный звук, похожий на игру на очень маленькой скрипочке. На вокзале ее ждал волонтер Адам. Он был высокий и тощий, с длинными светлыми волосами, которые падали ему на лицо, и он убирал их таким манерным жестом музыканта, зачесывая назад ладонью. «Готова спорить, дома у него есть гитара», – думала Ли, разглядывая его профиль, пока они шагали по парковке к такси. Адам напоминал тот тип парней, которые, выпив на вечеринке пару «Хайнекенов», достают гитару, две минуты вдохновенно настраивают ее, а потом горланят песни «Нирваны», пока не сорвут голос.

Колумбия была простой и приземистой – Средний Запад, ни больше ни меньше. Когда ехали по Восьмой улице, Адам указал на шесть колонн, стоящих прямо посреди поля и совершенно ничего не подпирающих. Это все, что осталось от главного корпуса университета после пожара в 1892 году, пояснил Адам. Есть легенда, – жутковато улыбаясь, добавил он, – что пожар возник из-за электрической лампочки – как раз в то время в здании установили «первую электролампочку в истории Миссисипи». 9 января 1892 года на первом этаже, в холле, должна была состояться выставка. К вечеру, когда все уже были в сборе, люстра под потолком заискрилась и вспламенилась. Огонь почти мгновенно переметнулся на потолок и охватил распо-

ложенную этажом выше библиотеку. К полуночи здание, по словам Адама, «сгорело в ноль», и только эти шесть колонн уцелели; теперь они – главный памятник города; только не очень понятно – что именно они означают.

Во всей этой истории Ли поразило даже не то, что огонь уничтожил библиотеку, а то, с каким восторгом Адам рассказывал об этом событии – так, словно речь шла о победе любимой баскетбольной команды.

– Простите, – осекся он, заметив, кажется, ее недоумение, – я, бывает, увлекаюсь. Я пишу работу об истории луддизма и технофобии на рубеже веков, и в числе прочих разбираю этот случай – это же прям синекдоха: электролампочка, уничтожившая библиотеку, а?

Ли вежливо улыбнулась, хотя и не очень поняла, при чем тут синекдоха.

Они доехали до кампуса, Адам помог ей заселиться в гостиницу – довольно милое трехзвездочное заведение с фасадом в скандинавском стиле – и провел небольшую экскурсию по кампусу и ботаническому саду. Именно там, в саду, она и встретила Гарина впервые. Он гулял по аллее, руки в карманах, одетый просто – голубая рубашка, джинсы и мокасины на босу ногу. Он улыбнулся ей и протянул руку. Рукава рубашки были закатаны, и Ли увидела черные, туземные татуировки на предплечье.

Он ей сразу понравился – само обаяние. Стал спрашивать: как доехали? Все ли понравилось? Волнуетесь перед лекцией? Взял за руку, погладил по ладони, успокоил: уверен, вы справитесь, все будет хорошо.

Ее поразило его взгляд – огромные голубые глаза, смотрит внимательно, не отрываясь; такой взгляд очень сложно выдержать. И голос. Все, кто был с ним знаком, говорили, что у него очень красивый, успокаивающий голос, который неожиданно контрастировал с внешним видом. Сам Гарин был большой, жилистый, черты лица крупные, грубые, кривая переносица (в детстве в драке сломали нос); на левом переднем зубе – небольшой скол.

– Я так рад, что вы согласились выступить у нас. Пойдемте, покажу вам аудиторию.

Они зашли в один из корпусов – его называли «Лицей» – довольно ветхий и очевидно требующий ремонта затертый паркет и рассохшиеся деревянные рамы в окнах. Здесь все дышало старостью, но не той благородной и величавой старостью, которая покрывает собой корпуса, скажем, в Гарварде, а другой – старостью провинциальной дамы, которая махнула на себя рукой и как-то, видимо, смирилась с тем, что лучшие годы уже позади.

– Извините за бардак, мы уже год ждем ремонта, – сказал Гарин, словно услышав, о чем думает Ли. – Этот корпус – объект культурного наследия, тут даже паркетину нельзя сменить без официального одобрения попечительского совета. Каждый чих надо заверять. Вот и сражаюсь с ними, как Рыцарь печального образа. Двери заменил, теперь жду, когда окна разрешат. Но наша аудитория вам понравится.

Аудитория действительно отличалась: свежеевыкрашенные стены, новый проектор и отциклеванный паркет под ногами. Пока Ли готовилась, проверяла слайды и в очередной раз просматривала конспекты, аудитория наполнилась студентами – их было немного, человек двадцать, но Ли заметила, что все они, кажется, вели себя как очень близкие друзья, и каждый подходил и отдельно здоровался с профессором Гариным.

Ли всегда страшно нервничала перед публичными выступлениями; опыта у нее было немного: на первой в ее жизни лекции один из студентов случайно сломал проектор, и ей пришлось выступать без слайдов, буквально на пальцах объясняя, как выглядят скульптуры Уолтера де Марии; в другой раз в аудитории было душно, кто-то открыл окно, и ее конспекты утянуло на улицу сильным ветром, Ли кинулась их ловить и чуть не выпала вслед за ними; это был один из самых неловких и стыдных моментов в ее недолгой карьере лектора.

Поэтому, заходя вслед за Гариным в аудиторию, она уже морально готовилась к новому форс-мажору. Когда лекция началась, казалось, в этот раз удача на ее стороне – проектор отлично работал, за окном было жарко, но безветренно, хотя теперь Ли на всякий случай всюду

возила с собой пресс-папье – камень, который нашла в пустыне Мохаве; придавливала им конспекты. И вот – буквально за двадцать минут до конца с улицы стали доноситься крики. Сперва как будто издалека, затем все ближе – за окнами собрались люди с плакатами и стали скандировать «Долой! Долой!» И первые минуты Ли попросту не могла понять, что происходит и что им нужно, и отчаянно делала вид, что не замечает воплей, но время шло и перекрикивать шум было все сложнее. К толпе прибавился женский голос, усиленный мегафоном, – хрипящий, гулкий, подначивающий: «Зачем нужен попечительский совет, если он ничего не решает?» – и демонстранты отвечали ей: «Да-а-а-а!»; «Они водят нас за нос, считают нас дураками! Мы дураки?» – «Не-е-е-ет!» Ли все чаще сбивалась, но продолжала читать лекцию на автомате – лишь бы закончить – и уже видела, что студенты в аудитории слушают не ее, а вопли за окнами, и переглядываются, и как-то растерянно смотрят на нее и на Гарина. И дочитав наконец лекцию до конца, Ли пробормотала «на этом, пожалуй, все» и тут же почти бегом направилась к выходу из аудитории – боялась расплакаться у всех на глазах.

Зашла в туалет, хлопнула дверью кабинки и пару минут просто стояла, уперевшись лбом в боковую стенку. Люминесцентный свет и запах хлорки. Ремонт явно новый, на полу – плитка с причудливым византийским узором. Акустика такая, что даже у дыхания небольшое эхо. Кто-то вошел, прошагал мимо кабинок, открыл кран, зашумела вода.

– Ли-и? Вы здесь? – Голос Гарина.

Пауза.

– Господи, это что, мужской туалет?

– Нет. Женский. Я пришел извиниться. Простите меня, пожалуйста. Мне очень-очень жаль, что так вышло.

– За что?

– Вы замечательно выступили. Даже не думайте огорчаться.

Пауза.

– Да уж...

– Простите. Я не думал, что эти болваны сегодня опять выйдут.

– Кто это был?

– Ох. Это долгая история.

– Нет, правда. Что им нужно?

– Давайте так: вы выйдете, мы сядем где-нибудь в более подходящем месте, и я расскажу.

Она помолчала.

– Еще пару минут. Пару минут – и я выйду.

* * *

Гарин отвел ее в бар, панорамные окна которого смотрели на футбольное поле. На поле на всю катушку работали поливалки, хотя даже они, очевидно, не могли спасти газон от жары – здесь и там виднелись желтые проплешины. Ли провела в Колумбии всего полдня, но уже уловила ее запах – город пах разогретой зноем кирпичной кладкой. Для Ли запахи были главным инструментом маркировки мира и взаимодействия с ним. У каждого места был свой особенный запах, и, попадая в новый город, она старалась дышать глубоко, это был ее способ «познакомиться». Ее родной Шаллотт пах мокрым после дождя асфальтом и можжевельником, Чапел-Хилл – вспаханной землей и – совсем чуть-чуть – дизельным топливом; она пять лет снимала там квартиру, окнами выходящую на стоянку для фур, и по ночам грузовики шумно парковались в свете фонарей возле цистерны с дизелем. Даже у пустынь были свои особые запахи – Ли могла с закрытыми глазами отличить Мохаве от Чиуауа: первая пахла раскаленными на солнце валунами, вторая – мхами и сырым гипсом.

У людей тоже были свои запахи-маяки: например, мама пахла детской присыпкой, а ее коллега-ихтиолог Сара – хной и красным вином, хотя она и утверждала, что не любит вино; научный руководитель Ли на пятом курсе, мистер Уильямс, всегда пах старой одеждой, даже когда одевался во все новое – он словно бы сам источал запах залежалого, пыльного, скроенного по устаревшим лекалам костюма. И вот теперь, сидя за одним столиком с профессором Гариным, она осторожно втягивала носом воздух, пытаясь как бы «опознать» его, внести в свою «картотеку запахов» – и не могла; от него как будто совсем не пахло – и это было необычно и волнительно; таких, как он, она еще не встречала – человек без запаха.

– Если кратко, – начал Гарин, когда ему наконец принесли сидр, – демонстрацию устроила одна из наших студенток. Очень дотошная. И вы тут совершенно ни при чем. Она писала работу по истории штата и выяснила, что Чарльз Генри Люгер – один из отцов-основателей нашего достопочтенного университета – был, мягко скажем, человеком неоднозначным. Помимо прочего он сколотил первое состояние на торговле оружием – организовывал поставки из Европы. А еще был антисемитом. Звучит не очень хорошо, но что поделать, – Гарин пожал плечами, – в смысле, Люгер был продуктом своего времени – обычный коммерсант, ни больше ни меньше. Я его не оправдываю, но – тридцатые годы девятнадцатого века, чего вы хотите? В Техасе сотнями вырезают апачей, а в Миссури тем временем строят университет – на деньги с продажи карабинов, из которых люди палят друг в друга на границе с Мексикой. В общем, все очень запутано. Но некоторые активисты решили, что это чересчур, и теперь требуют переименовать улицу Люгера, – у нас тут есть такая, – и убрать памятную табличку с его именем. Некоторые даже отказываются по этой улице ходить. И поскольку я в попечительском совете – они и меня решили взять измором.

– А вы что?

– А что я? – Он сложил вместе запястья, словно предлагал заковать себя в кандалы. – У меня руки связаны – попечительский совет занимается проблемами образования, переименование улиц и прочие градостроительные вопросы – это уже сложнее. Вы же видели «Лицей», я там паркет уже два года не могу поменять, потому что здание помечено как «объект культурного наследия» – бюрократия такая, что спятить можно. И точно так же мы не можем переименовывать улицы всякий раз, когда на них выходят недовольные с плакатами. Если начнем вычеркивать из истории сомнительных персонажей, у нас не останется истории. – Он вздохнул, отпил сидра из высокого стакана. – В общем, пытаемся как-то договориться. Пока не очень успешно.

– А ваши студенты?

– М-м?

– Ваши студенты тоже ходят на демонстрации?

Он засмеялся.

– Еще как! Я их сам туда засылаю – собирать данные. Такой материал не должен пропадать. Одна моя студентка уже пишет об этом случае статью: мемориальная культура и что-то там. Самое интересное в работе профессора антропологии – это наблюдать, как студенты ищут и обрабатывают материал.

Ли разглядывала лицо Гарина, и ее вдруг осенило. Она вспомнила, что во время лекции он сидел с краю, на стуле, повернувшись к ней боком, и делал заметки в блокноте. Только сейчас до нее дошло – он сел так, чтобы видеть лица студентов; и заметки его были не по теме лекции – он наблюдал за реакцией учеников.

– Вы никогда не отдыхаете, да?

– В каком смысле?

– Все время в режиме сбора данных. Студенты знают, что вы не только обучаете, но и изучаете их?

Он пожал плечами.

– Должны сами догадаться. Это же как с писателями. Писатель всегда наблюдает за вами, подслушивает и записывает. Он так устроен.

– Я никогда не встречала живого писателя, – она задумалась. – Но у меня была подруга, которая училась на режиссера. Она сняла фильм о матери. Мать видела, что ее снимают, но не знала, что это для дела. Думала, просто для семейного архива. И когда узнала, что стала персонажем фильма, который показывают чужим людям, страшно обиделась. Я точно не знаю, но, кажется, они до сих пор не разговаривают. – Ли вздохнула. – Простите.

– Почему вы извиняетесь?

– Не знаю, просто устала. Еще и на лекции катастрофа.

– Это вы простите, я должен был предвидеть, что они явятся. – Он запнулся, почесал бровь мизинцем. Ли заметила, что он всегда так делает, когда пытается сформулировать в уме мысль – чешет бровь мизинцем. – Все мои студенты изучают друг друга – это часть учебного процесса. У нас даже есть семинары, на которых мы обсуждаем, насколько это этично – превращать близких, или коллег, или учеников в материал для исследования. Или для искусства. Близкие впускают тебя в свою жизнь, а ты крадешь их личное пространство и превращаешь в текст, в научную работу. Ты используешь их. С другой стороны: что поделать, если чужое личное пространство – самый лучший материал для создания чего-то нового? И далее – еще целая куча неприятных вопросов: это подло – без спросу брать фрагмент чьей-то жизни, обрабатывать и подписывать своим именем? И если я так поступаю, значит ли это, что я подлый человек?

– Ну, всегда можно спросить разрешения. Простая этика.

Он задумался.

– Возможно. Но не всегда. Например, если я скажу Джоан, моей студентке, что собираю о ней данные, сбор данных потеряет смысл, потому что Джоан будет знать, что я собираю о ней данные, и перестанет вести себя естественно в моем присутствии. А мне необходимо, чтобы она вела себя естественно, потому что иначе на выходе я получу искаженные и неполные данные. Точно так же с вашей подругой: если бы она сказала маме, что снимает ее для проекта, мать вела бы себя иначе, зажималась бы, старалась бы «играть на камеру», а ей, подруге, я полагаю, важно было заснять мать в, скажем так, естественной среде обитания.

Ли поймала себя на мысли, что ей очень нравится слушать Гарина. Не только его слова, но и голос – спокойный, медленный, уверенный. Гипнотический – вот правильное слово.

Он вдруг поднялся со стула.

– Пойдемте.

– Куда?

– Покажу вам одно хорошее место.

Ли взглянула на часы над барной стойкой.

– Я не могу, у меня завтра в восемь автобус.

– Да бросьте вы. Прodelали такой путь и вот так уедете? Ну нет. Я вас пригласил, и развлечь вас – моя святая обязанность.

Ли очень не хотела идти, но Гарин был настойчив и выглядел так, словно отказ его обидит, и ей было ужасно неловко. Через двадцать минут на такси они подъехали к старому зданию, которое, честно говоря, просто поразило ее – индустриальный стиль в нем причудливо сталкивался с неоготикой, – как будто изнутри сталелитейного завода проросла шпилями и стрельчатыми окнами католическая церковь; как будто кто-то в самый разгар проекта подбросил на стол архитектору другие чертежи, а тот не заметил и просто продолжил строительство. Внутри было прохладно и темно, на полу – мозаики с изображениями танцующих людей, на потолке раскидистые люстры, которые, впрочем, несмотря на сотни лампочек, света особо не давали. Гарин знакомил Ли с какими-то людьми, имен она не запомнила, но все они были так милы и доброжелательны, что она постепенно расслабилась и почувствовала себя в безопас-

ности. В конце концов, рядом был Гарин. Он указал на сцену, заваленную какими-то деревянными бочками, коробками и длинными бамбуковыми палками, и сообщил, что сегодня в городе гостят некие братья Волковы, «самые известные в мире перкуSSIONисты».

На сцене появились двое мужчин. Один шуплый, худой, в белой одежде; второй – огромный и широкий, но не толстый, а именно массивный – большой такой амбал, одетый в черное. Ли хорошо запомнила, как их лысины ловили блики софитов. Пару минут музыканты неподвижно стояли, окруженные причудливыми деревянными инструментами. Затем один издал что-то похожее на боевой клич и кинулся к бочке – как позже объяснил Гарин, называлась она «щелевой барабан» – и стал ритмично долбить по ней бамбуковыми палками – звук получался низкий, brutальный, с очень длинным, мучительным эхом – у Ли он вызвал ассоциацию с ночной бомбардировкой мирного города. Бум-бум-бум-бум – затем четыре такта тишины, амбал тоже схватил две бамбуковые палки и подскочил к квадратному барабану – БУМ-БУМ-БУМ-БУМ – звук разлетался по помещению и странными перкуSSIONными щелчками рикошетил от стен, как картечь.

– Вы в порядке? – спросил Гарин, склонившись к ее уху, когда подошла к концу первая композиция.

– Душно. Тяжело дышать, – сказала Ли.

– Это бывает. С непривычки.

– Где тут выход? Я хочу выйти, подышать.

– Эй, да вы что? – Гарин взял ее за локоть. – И пропустить такое? Они только размялись, сейчас сыграют второй гимн.

И снова грохот барабанов – еще громче, еще мучительнее. У Ли опять перехватило дыхание – ее как будто лупили звуком в солнечное сплетение. Затем – какое-то тихое потрескивание отовсюду. Сначала она даже не поняла, что происходит, только взглянув на Гарина, увидела, что он стучит каблуком по полу, и все вокруг тоже топают в такт. В желудке у Ли заболело – такое ощущение, словно проглотила рыболовный крючок и кто-то теперь тянет за леску. Рядом вновь возник Гарин со стаканом, вложил ей в руку, она сделала глоток и поморщилась. Что-то горькое и, кажется, алкогольное. Она протянула стакан обратно, но Гарин покачал головой «пейте, сразу полегчает».

Она вытерпела еще две композиции – или два «гимна», как называл их Гарин, один громче другого, и продолжала стоять там, в толпе, потому что стеснялась сказать, что ей нехорошо, ей не нравится здесь, и она хочет домой. К пятому «гимну» воображаемый крючок в желудке резко дернулся вверх, к диафрагме. У Ли подкосились ноги, и она схватилась за Гарина.

– Меня сейчас вырвет.

Гарин посмотрел на нее.

– Господи, да на вас лица нет! Что же вы молчали-то?

Он взял ее под руки и повел к выходу. На свежем воздухе ее легкие раскрылись, и она вдохнула – ощущение, будто оттолкнулась от дна и выплыла на поверхность. Стало полегче, она сидела на ступеньках, а Гарин размахивал перед ней сложенной в веер стопкой бумаги.

– Что вы ели сегодня? – спросил он.

– Что?

– Вы сказали, что вас тошнит. Что вы ели сегодня?

– Ничего. Только салат с креветками. И сок.

– Могу я взять вас за запястье?

– Что?

– Запястье. Хочу проверить пульс.

Она кивнула. Он взял ее руку, прижал два пальца – средний и указательный – к запястью.

– Похоже на отравление. Пойдемте, тут аптека недалеко.

Ну конечно, с облегчением подумала Ли, этот крючок в желудке – всего лишь отравление. Как глупо. Как глупо было думать, что это из-за музыки.

– Простите меня, – сказала она.

– Пожалуйста, перестаньте извиняться. Позвольте вам помочь, – он предложил локоть, она взялась за него, и он повел ее по улице. Свет фонарей отдавал болезненной желтизной. – Нет, это вы меня простите. Какой-то сегодня дурацкий день. То митинг под окнами, то вот это теперь.

Они зашли в аптеку, белый свет лупил по глазам, Ли зажмурилась и закрыла лицо ладонями. Гарин купил воды и еще чего-то, какой-то порошок. Насыпал его прямо в бутылку, взболтал и заставил Ли выпить. Ей сразу стало легче, и он повел ее в гостиницу, где очень строго приказал консьержу проследить за тем, чтобы ее проводили до номера и обязательно разбудили в восемь. Ли не помнила, как легла в постель. Ей снилось, что она стоит в темноте и вокруг – ничего, только ритмичный топот сотен каблучков. И хотя спала она от силы часа три, утром, проснувшись от звонка консьержа, она чувствовала себя прекрасно, как если бы и не было вчерашнего отравления.

Она собрала чемодан – или, точнее, запихнула в него вещи – желания складывать их не было совершенно, и спустилась в фойе, где, к ее огромному удивлению, сидел Адам. Ли ощутила легкий укол обиды – ей почему-то было жаль, что Гарин не пришел проводить ее лично, хотя он и не обещал, но, с другой стороны, он прислал Адама, а значит, позаботился о ней, и эта мысль, что о ней позаботились, очень обрадовала ее и доставила какое-то странное удовольствие.

Адам перебирал в руке зеленые четки. Он выглядел виноватым и уставшим, словно тоже не спал всю ночь, сказал, что пришел помочь ей с чемоданом. Чемодан был на колесиках (одно из которых, как мы помним, заунывно скрипело), катить его нужно было всего три квартала до остановки, но Ли из вежливости приняла его помощь. Пару минут они молча шли по улице, затем Адам спросил:

– Он злится на меня, да?

– Что?

– Я знаю, он злится на меня. Он говорил что-нибудь про меня? Может, намекал?

– Кто, не понимаю?

– Профессор. Профессор что-нибудь про меня говорил?

Чтобы как-то сменить неловкую тему, Ли пошутила насчет колесика, скрип которого напоминал тоскливую игру на очень маленькой скрипочке. Но Адам шутку не оценил, тогда она спросила про четки: они какие-то особенные? У них есть история?

– Я был его лучшим учеником, – проворчал Адам вместо ответа. – А теперь нет. Я даже не знаю, что такого сделал. Что я сделал не так? Вы знаете? Он же наверняка говорил про меня.

Подъехало такси, и Ли забрала у него ручку от чемодана.

– Спасибо за помощь, Адам. Было очень приятно. Мне правда пора.

* * *

Вернувшись в Чапел-Хилл она снова с головой ушла в работу над диссертацией и даже совершила наконец паломничество в Нью-Йорк, чтобы увидеть еще одну скульптуру де Марии – «Земляную комнату». Однажды вечером, сидя на кухне и слушая привычный уже грохот фур на стоянке под окном, Ли дописала главу, посвященную символам и ритуалам в современном искусстве, и подумала: интересно, что сказал бы о моем тексте Гарин? – и затем: а почему бы не написать ему? Как-нибудь ненавязчиво, мол, вот продолжаю работу, написала главу и хотела спросить вашего мнения и так далее.

Сидя в библиотеке за компьютером, – интернет в те времена был в основном в библиотеках, компании Google еще даже не существовало, – она забила в строку поиска его имя и нарвалась на серию работ о культуре тюремных и лагерных татуировок в Советском Союзе и США и еще книгу о микронезийских туземцах под названием «Кахахаси. Самое жестокое племя». Среди прочего в одной из статей была фотография Гарина, жмущего руку самому Виктору Тэрнеру.

Еще пару дней она думала о том, чтобы написать ему, и наконец решилась. И правда – почему бы и нет? Это же очень логично – обратиться за помощью к профессору, попросить проверить текст на наличие ошибок. И вообще – она просто напишет ему благодарственное письмо и как бы между делом спросит, что он думает о ее работе. Худшее, что может случиться, – он просто не ответит. Хотя, признаться, ей было неприятно думать о том, что он ее проигнорирует. Она написала письмо – подчеркнуто профессиональное – во всяком случае так ей казалось, в котором с восторгом отзывалась о Миссурийском университете и даже добавила, что если бы могла, перевелась бы в Колумбию, потому что кафедра антропологии там явно сильнее, чем в Чапел-Хилле. Нашла красивый конверт из плотной коричневой бумаги, вложила в него распечатку главы о ритуалах и отнесла на почту. А дальше – мучительное ожидание ответа и тошнота при мысли, что она нарушила какой-то внутренний научный этикет, что все это – глупости, и своим вниманием она доставляет профессору Гарину неудобства, и что, наверно, он в день получает десятки таких вот дурацких писем от молодых студенток, которые ищут в интернете его статьи и разглядывают его фотографии. Через неделю она уже жалела о своем поступке и представляла, как он открывает ее дурацкий коричневый конверт, читает письмо и смеется над ней или еще хуже – хмурится, или тяжело вздыхает, или качает головой.

Он ответил. Спустя две с половиной недели она нашла в почтовом ящике письмо с гербом университета Миссури. Он сообщал, что находит ее работу очень интересной и даже готов – если, конечно, она пожелает, – проконсультировать ее насчет неточностей, но, к сожалению, «буквально сегодня» он улетает в Микронезию, в очередную экспедицию. На два месяца. Но, добавлял он, когда он вернется, если у нее еще будет желание, он с удовольствием выступит консультантом во всем, что касается ритуалов.

Он написал вновь – ровно через два месяца, как и обещал. В письме были только хорошие новости – он показал ее текст коллегам из попечительского совета, «дернул за пару ниточек», и теперь отделение антропологии университета Миссури предлагает ей стипендию – если, конечно, она не шутила, когда в письме упомянула о том, что подумывает перевестись. В Колумбии у нее будет отличная возможность переработать свой текст о религиозных откровениях в докторскую. Плюс ей зачтут семинары за два года магистратуры в Северной Каролине.

Перевестись в Колумбию было не так просто: для этого нужно было фактически заново поступать – на этот раз в докторантуру. И хотя в деканате UNC на Ли смотрели с недоумением: «Два года потратила здесь в магистратуре и теперь уезжаешь? Зачем?» – она была счастлива от того, что ей подвернулась такая возможность. Учиться у самого Гарина – кто откажется от такого?

Таня

Таня отлично помнила день, когда мать оступилась. Это было летом, на даче. На соседнем участке хозяин выкопал яму под фундамент, из ямы пахло сыростью, и каждую ночь в нее забирались сотни лягушек – падали на дно и не могли выбраться. Их кваканье сводило с ума всех, включая собаку на цепи на участке через дорогу. По утрам Таня надевала комбинезон и резиновые сапоги, они с матерью подтаскивали к яме лестницу, спускались и собирали лягушек в ведра, чтобы затем унести в лес и отпустить.

Следующей ночью все повторялось, лягушки возвращались в яму с таким упорством, словно это было какое-то священное для них место. Скорее всего, их привлекал запах сырой земли.

Сбор лягушек тем летом стал для них чем-то вроде ритуала. Они завтракали на веранде, затем мать помогала Тане натянуть сапоги, и они вместе спускались в яму и «собирали урожай», и мать рассказывала об удивительных способностях земноводных: они, например, могут отращивать новые хвосты и лапки взамен потерянных; а еще могут вмерзнуть в лед и провести в его толще месяцы и годы, и если лед растопить, они «проснутся» и будут жить дальше как ни в чем не бывало.

А потом мать оступилась. Таня отлично помнила тот день – очередное утро, очередная сотня лягушек на дне ямы, – мать подошла к краю и, кажется, не рассчитала шаг, или, может, земля осыпалась под ногой.

Затем – сирена, мигалки и запахи больничных коридоров; нелепые плакаты на стенах и переломанные люди в отделе травматологии – на костылях, в колясках.

Фамилию доктора Таня запомнила хорошо – Носов, а имя-отчество все время вылетало из головы. Носов был такой добрый дядька с внешностью крестьянина. Озвучивая диагноз, он крутил на пальце обручальное кольцо, как будто нервничал и надеялся, что кольцо защитит его или сделает невидимым; а еще, разглядывая рентгеновские снимки, он вечно что-то напевал себе под нос.

– Пу-рум-пум-пум, какой интересный у вас позвоночник.

Эта его манера ужасно раздражала мать.

– Зайдет в палату и давай пурумкать. Еще и позвоночник мой все время хвалит. Кто в здоровом уме делает комплименты позвоночнику? Можно мне другого врача?

* * *

Еще ребенком Таня научилась «слышать» настроение матери – могла определить степень ее усталости и раздражения по тому, *как* она открывает дверь и бросает ключи на комод; как выдыхает, опускаясь на табуретку; как расстегивает пальто; как снимает сапоги и разминает пальцы на ногах, массирует опухшие ступни. Слушать уставшую, угрюмую мать и смотреть на нее было невыносимо, поэтому Таня всегда старалась ее развеселить – так еще в детстве стал проявляться ее комедийный талант. Мать много работала, из школы приходила поздно, шла в душ, затем в халате и с полотенцем на голове садилась за кухонный стол и проверяла тетрадки. Таня – ей тогда было восемь или около того – тоже накидывала халат, сооружала на голове тюрбан из полотенца, заходила на кухню, садилась напротив матери – точная копия в масштабе примерно 1:3 – и начинала подражать ей, «проверять тетрадки». Уже тогда она умела идеально схватывать мимику и характерные жесты людей, которых изображала. Например, «проверяя тетрадки», она так выразительно вздыхала, качала головой и кусала колпачок красной ручки, что даже мать, наблюдая за ней, спрашивала: «Это что, я правда вот так делаю, да?» Таня в

ответ смотрела на нее поверх воображаемых очков и говорила: «Танюш, ну, ты же видишь, я занята, не мешай маме работать, иди поиграй», – и интонация ее была настолько узнаваема, что мать откидывалась на спинку стула, склоняла голову набок и улыбалась впервые за день, и Таня точно так же склоняла голову и улыбалась ей в ответ.

– Ц-ц, артистка, – цокая языком, говорила мать.

Танин талант, впрочем, ценили далеко не все – старшую сестру Леру ее «выступления» приводили в ярость.

– Еще раз меня отзеркалишь – из окна выкину, поняла?

Но Таня все равно «зеркалила» – назло. У них с сестрой вообще были сложные отношения – хотя какими еще могут быть отношения двух сестер, которым вечно все приходится делить – игрушки, одежду, комнату?

Таня была домашней, ручной, Лера, наоборот, – из тех, о ком слагают легенды бабки на лавочке возле подъезда; с вечными синяками на ногах, происхождение которых – синяков, не ног – она и сама не могла объяснить. Лет до одиннадцати Таня была уверена, что старшая сестра ее ненавидит и что угроза выкинуть в окно – не пустые слова, поэтому, если в комнату заходила Лера, Таня на всякий случай старалась держаться от окон подальше.

Таня не была изгоем, хотя сама вряд ли смогла бы определить свое место в школьной пищевой цепи; училась она средне, списывать у нее было бессмысленно, взять с нее было нечего, поэтому над ней особо не издевались – все-таки дочь училки, – сидела на третьей парте и не отвечала. И все же иногда девичьи из параллельного ее били; без всякой причины, потому что могли. Таня поначалу пыталась давать отпор, но очень быстро поняла, что этим только доставляет им удовольствие, и заметила, что если во время трепки молча стоять и смотреть в одну точку, то все заканчивается гораздо быстрее – живодемам неинтересно мучить тех, кто не отбивается, не плачет и не кричит «за что?!»; поэтому когда Таню зажимали в углу и начинали лупить, она замирала на месте и обычно стояла с таким скучающим видом, словно ждала лифт, словно встреча с обидчицами – это самое скучное событие в ее жизни, и этим убивала им все удовольствие от насилия; гопницам быстро надоедало, и они расходились; главное было – не смотреть им в глаза и не отвечать. Насилие в школе вообще было делом обыденным и скучным, как мытье полов или уроки обществознания, никто из учителей об избиениях даже не подозревал; а может, наоборот, – все знали, но делали вид, что не замечают; в конце концов, довольно сложно не замечать ссадины и порванные рукава рубашек. В школе было негласное, но для всех очевидное правило: мир взрослых и мир детей не должны пересекаться, и если ты просишь взрослого о помощи, ты как бы нарушаешь герметичность школьного мироздания, а за такое дети карали еще сильнее.

Однажды – это было классе в шестом, кажется, – Таня в очередной раз пришла домой растрепанная, сжимая в ладони оторванные пуговицы, и не успела запереться в ванной, нарвалась на Леру, которая сразу все поняла. Лера была уже в выпускном классе, то есть формально еще в мире детей, но по факту – уже взрослая, готовится к поступлению и переезду в универ.

Через два дня на пороге квартиры возник участковый, а за спиной у него – толстая опухшая тетка, мать одной из Таниных обидчиц. Как выяснилось, накануне Лера подкараулила их у выхода из школы и отхлестала крапивой; физического вреда почти не было, в основном моральный – отходила веником крапивы по задницам на глазах у одноклассниц.

В тот день Таня впервые подумала, что, возможно, Лера не такая уж плохая сестра, и, возможно, она все-таки не выкинет ее из окна, и еще, возможно, она ее даже любит. В конце концов, не станет же человек караулить у школы твоих обидчиц и лупить их крапивой, если он тебя не любит?

* * *

Лера выучилась на морского биолога и уехала в экспедицию на Камчатку, изучать китов. А потом и вовсе нашла там работу – в шести с половиной тысячах километров от дома. «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда», – сказала она, когда прощались в аэропорту. «Отсюда» означало «от матери». После отъезда Леры стало совсем плохо. Таня вдруг поняла, что, пока они жили втроем, Лера, как громоотвод, принимала на себя всю тяжесть материнского воспитания. И после отъезда старшей мать переключилась на Таню.

Вообще-то мать была доброй, но доброта ее распределялась неравномерно. Пять лет подряд ее признавали «Учителем года», она души не чаяла в учениках, даже в троечниках, но, кажется, стыдилась проявлять нежность к собственным детям, словно боялась, что нежность их испортит и они вырастут слабыми и избалованными. Ее жизненная философия напоминала причудливую смесь махрового социализма и ветхозаветной жестокости: человек должен трудиться в поте лица, до ломоты в спине, если в конце дня ты не валишься с ног от усталости – значит, ты что-то делаешь не так; а еще – никогда не спорь со старшими; старший всегда знает лучше, потому что он дольше жил, больше страдал и повидал на своем веку, вот как вырастешь, будешь свое мнение иметь, а пока молчи, понятно?

После падения в яму с лягушками ее характер совсем испортился – хотя, казалось бы, куда уж? Если бы мать была пророком, думала Таня, у нее была бы только одна заповедь: «не забывайте страдать». Сама она следовала этой заповеди неукоснительно. Скажешь ей: пожалуйста, не выходи из дома, у тебя спина, костыли, а на улице гололед. Кивает, вроде поняла. Отлучишься на час, и уже звонит сосед: ваша мама поскользнулась и что-то сломала, увезли в больницу.

Ну зачем, зачем ты вышла?

Бормочет что-то.

И снова доктор Носов со своими снимками и песенками. Осложнение, трещина, пу-рум-пум-пум, полгода физиотерапии насмарку.

Ты издеваешься надо мной, да?

Молчит.

Да и что тут скажешь. Говорить с ней было, в общем, бесполезно, она была из тех людей, которые уверены, что русская пословица или цитата из советского фильма – это небыющийся аргумент в любом споре. Когда же разговор сворачивал на слишком неудобные темы и пословицы уже не работали, она начинала как флагом размахивать возрастом: «с мое поживи – и поймешь!» – и если даже это не помогало, мать просто качала головой и говорила: «Дочь, ну чего ты опять начинаешь, я же тебя люблю», – таким тоном, словно это признание должно было как-то облегчить или отменить причиняемую боль; на самом деле Таня давно уже знала, что в переводе с материнского на русский эти слова означают: «я тебя люблю, поэтому ты должна терпеть мой характер, мою инфантильность, мою беспомощность, мою беспощадность и мое вечное недовольство тобой».

* * *

А потом был Илья. Таня пришла в гости к подруге и столкнулась с ним на кухне. Он сидел за столом на фоне облезлых обоев и курил, стряхивая пепел в банку из-под растворимого кофе. Курил красиво, как будто позировал для рекламы парфюма. Несоответствие аристократической позы и нищенской обстановки рождало комический эффект, который он, надо сказать, вполне осознавал. Таня всегда завидовала людям, которые не боятся быть нелепыми и не думают постоянно о том, как они выглядят и какое впечатление производят на окружающих.

У нее самой с детства с этим были проблемы – вечные сомнения подростка, который вынужден носить свое неуклюжее тело: «насколько глупо я выгляжу? У меня дурацкая походка? Я суетливая?» Само по себе тело для нее было источником стыда, неудобств и сомнений. Особенно лицо. В шестом классе у нее начались проблемы с кожей. Прыщей было так много, что по утрам, глядя в зеркало, она думала: «это лицо проще сжечь, чем вылечить». Это была не шутка. Ее водили к дерматологу на процедуры, врач тыкал ей в щеки и в лоб иглой, и по лицу текла кровь – со стороны это напоминало фильм ужасов. Однажды после очередного сеанса ей замотали голову бинтами, и она стала похожа на мумию. Посмотрела в зеркало и в тот же день зашла в хозяйственный магазин, взяла с полки жидкость для розжига и спички – буквально собиралась сжечь себе лицо, в таком была состоянии, в таком отчаянии. Ее спасла кассирша – отказалась продавать жидкость и спички несовершеннолетней.

И вот спустя одиннадцать лет она сидит на кухне у подруги и на двоих с Ильей раскуривает косяк и зачем-то рассказывает ему об этом случае: о прыщах, о бинтах и о жидкости для розжига.

– Жесть, – говорит он, затягиваясь. И, выдыхая дым, добавляет: – Мне нравится твое лицо, не сжигай его, пожалуйста.

Илья был огромный и широкоплечий. В обществе вел себя шумно, иногда развязно, нисколько не стесняясь ни громкого смеха, ни простоватых манер, которые сам он называл «пролетарскими»; наоборот – он, кажется, по-настоящему наслаждался своей провинциальностью, и роли деревенских простофиль и рубаха-парней в театральных постановках давались ему лучше всего. Еще он часто играл полицейских, и Таню немного пугало то, как органично он смотрится в форме и как меняются его мимика и жесты, когда он берет под козырек и предельно суровым тоном говорит: «Документики предъявите» или «Лейтенант Котопесов, честь имею».

У Тани все было иначе. Она тоже ходила на актерские курсы, но актрисой быть не хотела. Если и думала о съемках, то о таких, где она будет за камерой. Актерские же курсы были для нее чем-то вроде терапии, попыткой помириться с собственным телом, найти с ним общий язык. О теле она думала каждый день и каждый день пыталась его полюбить. Полюбить себя целиком она не могла, как ни старалась, поэтому решила, что для начала попробует научиться любить отдельные части себя, а потом, если повезет, смонтирует их в единое целое. Но даже этот вроде бы хитрый киношный прием – скрыть недостатки в монтаже – не работал; отдельные части ее тела были упрямы и всячески отвергали ее любовь.

Возможно, именно поэтому, думала она, ее так тянет к Илье. Она полагала, что если будет жить рядом с вот таким вот любимым телом, то рано или поздно научится у него этой легкости.

А потом – ну, потом они съехались. Хотя она все еще не могла решить, действительно ли ей нравится их сближение: он иногда отпускал совершенно неуместные, на грани пошлости реплики за столом, разговаривал с набитым ртом и громко смеялся над собственными шутками. Он вообще все делал громко, даже молчал. Его энергии хватало на всех: вставал в шесть – а иногда и в пять, – принимал душ, ехал на репетицию, затем – на стадион, играть в футбол с друзьями; после игры разгоряченный приезжал домой, еще раз принимал душ, снова ехал в театр или на пробы, возвращался, опять принимал душ и звал Таню на вечеринку. Иногда она соглашалась, думала, это полезно – бывать среди живых людей; что-то вроде упражнения – как стоять планку, только тренируешь мышцы не живота, а что-то другое – социальные навыки, может быть, или что-нибудь в этом роде. Но тренировки эти пока не приносили результатов, и все обычно заканчивалось тем, что она стояла в углу, смотрела на дверь и думала: если я сейчас вот так вот просто уйду, будет ли это невежливо? Как вообще люди обычно уходят с вечеринок? Есть ли какой-то особенный этикет ухода? Какой-то ритуал? Умом она, конечно, понимала, что никому дела нет, когда ты уйдешь, все пришли развлечься, двери открыты. Но

она так боялась, что ее неверно поймут, – и это был самый сильный ее страх – быть неверно понятой, – поэтому стояла там, в углу и молча дожидалась конца вечеринки, разглядывала гостей: лица, костюмы, руки.

Затем к ней подходил уже немного опьяневший от алкоголя и всеобщего внимания Илья.

– Мне нравится, когда ты так смотришь.

– Как?

– Вот так, – он изобразил ее взгляд: прищурился, склонил голову набок. – Ты, типа, как антрополог, изучаешь повадки аборигенов.

Вместе они прожили полгода, и все это время она пыталась разгадать его секрет, понять, как ему удастся быть таким естественным в своем теле. Их отношения меж тем портились с каждым днем, или, точнее, медленно выдыхались. С Ильей было нелегко – ему хватало проницательности, чтобы видеть ее болевые точки, но не хватало такта, чтобы в нужный момент промолчать. Одной из таких точек была татуировка у нее на шее.

* * *

Первые месячные у Тани случились в тринадцать – проснулась утром от скручивающей боли внизу живота в мокрой постели, испугалась. Благо Лера была дома, успокоила, объяснила, помогла сменить простыни. А вечером вручила Тане конверт. В конверте был сертификат в тату-салон, и Таня сначала решила, что сестра издевается. Но Лера была серьезна:

– Ты теперь взрослая. Нужно это отметить – совершить что-нибудь необратимое.

– А сама ты как отметила?

Лера повернулась, подобрала волосы, и Таня увидела татуировку: маленький геральдический олень.

– Ого, – сказала она. – А если мама увидит?

– Не увидит, не парься, – ответила Лера. – Я уже три года так хожу – и ничего, под волосами же.

Спустя несколько дней, когда стало полегче, Таня отправилась в салон, пару часов листала альбом с образцами рисунков морских чудовищ и земноводных и наконец выбрала идеальный вариант. Мастера не смутило, что ей, очевидно, еще не было восемнадцати, и когда вечером она вернулась домой и прошла мимо кухни в детскую, ей даже говорить ничего не пришлось, Лера все поняла по глазам, зашла в комнату следом и тихо закрыла дверь.

– Покажи.

Таня подобрала волосы – на шее сзади над самым верхним позвонком блестел наклеенный мастером квадратный кусочек пленки. Лера чуть отклеила край – кожа под пленкой была красная, опухшая, обильно смазанная вазелином, но рисунок был отчетливо виден – маленькая черная ящерица.

– Офигеть. А почему ящерица?

– Не знаю. Просто понравилась.

Так у них появилась общая тайна, и эта тайна их сплотила; и вечером за ужином они сидели с матерью на кухне, и Лера подмигнула Тане, и Таня улыбнулась, и ей казалось, что это самый важный и самый интимный момент их общего детства – даже важнее того случая с крапивой. С тех пор Лера никогда не дразнила Таню и относилась к ней как к равной и, даже переехав на Камчатку, писала письма, которые всегда заканчивала одинаково:

P.S. передавай привет ящерице

Прошло уже десять лет, Таня с тех пор успела окончить педагогический, который изначально рассматривала лишь как запасной вариант и подавала в него документы только чтобы успокоить мать; во ВГИК ее в итоге не взяли, забраковали на стадии творческого конкурса, и

Таня, разочарованная в собственном таланте – точнее, убежденная матерью в том, что никакого особого таланта у нее нет, «а кино – это вообще не профессия», – пошла учиться на учителя иностранных языков. Теперь, спустя годы, она вела курсы английского, готовила студентов к TOEFL и IELTS; зарплата была неплохая, она даже купила себе подержанный «Поло». В общем, многое в жизни менялось, но одно оставалось неизменным – Таня до сих пор тайком писала сценарии своих будущих фильмов и скрывала от матери татуировку – и перед встречей с ней заклеивала ящерицу пластырем, на всякий случай, чем приводила Илью в недоумение:

– Вот скажи мне, какой смысл в татухе, если ты ее прячешь? Тем более от мамы. Ты вот жалуешься вечно, что она тебя, типа, не принимает такой, какая ты есть. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, это у вас абсолютно взаимная фигня.

В двадцать три Таня наконец накопила денег и пошла учиться в киношколу, на специальность «режиссер неигрового кино». И этот факт скрывала от матери так же тщательно, как и ящерицу.

– А киношколу ты тоже пластырем будешь заклеивать? – спрашивал Илья. – Нехилый такой пластырь нужен. Такие вряд ли в аптеке продают. Вот клянусь, при встрече расскажу твоей маме все – и про татуху, и про кино.

Возможно, именно поэтому Таня их не знакомила, даже не собиралась. И очень иронично, что знакомство все же состоялось – за день до того, как она съехала от Ильи. И за три – до того, как мать исчезла.

* * *

Позвонила соседка снизу, тетя Нина: «Танечка, дорогая, я, конечно, очень извиняюсь, но у нас тут мокрые пятна на потолке, а с люстры вода течет. Вот, слышишь? Это я ведро подставила».

Мать не брала трубку, и Таня кинулась искать ключи от ее квартиры. Илья сидел на диване и наблюдал за ней, спросил, в чем дело, и она рассказала про бедную тетю Нину, которую они стабильно заливают в среднем раз в два года, и еще мама трубку не берет, в общем, черт знает что, как обычно, надо ехать и исправлять. Илья поднялся с дивана.

– Ну что ж. Надо – значит поедем.

– Куда?

– Куда-куда, к маме.

Она не стала отговаривать – не до того было, – и через полчаса они уже стояли у двери, из-под которой на лестничную площадку медленно натекала лужа. Таня щелкнула замком, потянула дверь на себя, и вода небольшим водопадом через порожек выплеснулась ей прямо на кеды. В коридоре был караул – ботинки, тапочки и туфли, как лодки и гондолы, скользили по зеркальной поверхности воды. Таня бросилась в ванную, закрыла кран. В переполненной ванной плавали какие-то белые простыни, одну из них затянуло в сливное отверстие, другая забила запасной слив.

– Вы что здесь делаете? – раздался сонный голос матери в коридоре.

– Мама, твою мать, ты почему трубку не берешь?

– Я спала, – сказала она таким будничным тоном, словно это вообще все объясняет; посмотрела под ноги: – Кто мне тут разлил?

Таня достала с балкона полотенца и ведра, Илья снял кроссовки, закатал штанины и рукава, и они стали собирать воду, сначала ковшом и стаканом, затем – полотенцами. Мать пыталась помочь, но после Таниной просьбы побережь спину пробормотала: «Вот только орать на меня не надо», – ушла на кухню и там поставила чайник.

Спустя час потоп удалось ликвидировать, и мать позвала Таню с Ильей пить чай. Она, похоже, выпалась, спина не болела, и настроение у нее было такое, словно потоп произошел не

по ее вине и не в ее квартире. Когда Таня сказала, что надо бы, мол, узнать, насколько сильно пострадали потолки тети Нины, мать махнула рукой.

– Ой, да пошла она в баню! Она мне знаешь что? Она говорит, я слишком громко хожу. У меня костыль, – показала костыль, постучала им по полу, – я костылем хожу, але!

На плите засвистел чайник, и мать сменила тему.

– А вы, значит, у нас Илья, – уточнила она, Илья кивнул. Мать посмотрела на Таню. – А Таня мне про вас совсем ничего не рассказывала.

– И сейчас ты узнаешь почему, – прошептала Таня, когда мать отвернулась к плите за чайником. Кухня была такая маленькая, что переставить чайник с плиты на стол можно было, не вставая со стула.

– Я все слышу, – сказала мать и посмотрела на часы на стене, потом на Илью. – Сейчас четыре часа, почему вы не на работе? У вас же есть работа?

Илья улыбнулся – он помнил Танины рассказы о том, что мать первым делом всегда спрашивает о работе, таким же тоном, каким истовый верующий спрашивает о Боге.

– Я актер, – сказал он.

– Актер – это, конечно, хорошо, но у вас же есть какая-то работа?

– Мама!

– Что? Я просто спросила. – Таня выразительно посмотрела на мать, та вздохнула. – Ну, хорошо, а где вы познакомились?

– В гостях у общей знакомой из театра, – сказал Илья. – Танька пришла на актерские курсы записаться, а там я сидел. Да, кстати, можете поздравить ее – она недавно поступила в киношколу.

Мать как раз наливала кипяток в Танину чашку и вдруг замерла, с чайником в руке. Немая сцена продолжалась секунды две, затем мать словно оттаяла, вернула чайник на плиту и тихо сказала:

– Поздравляю.

Когда Илья вышел в туалет, мать посмотрела на Таню:

– И когда ты собиралась мне сказать?

– О чем?

– О чем, о чем, об этом.

Таня смотрела в стол – совсем как в детстве, когда ее отчитывали, – просто молча ждала, терпела, когда все закончится.

– Ну что ж, – сказала мать. – Ты сама выбрала эту жизнь. Не жалуйся потом.

Мать всегда находила слова, которые били больнее всего. А клише «ты сама выбрала эту жизнь» было одним из ее любимых; она использовала его как щит, как заклинание, чтобы прикрыться от реальности, или точнее – от тех нюансов реальности, которые ее не устраивали или которых она не понимала и не хотела понять. Иногда Тане казалось, что именно эта реплика, это клише, не дает им помириться и жить как нормальные люди. Потому что сама Таня видела все иначе. Она была уверена, что на самом деле мы почти ничего не выбираем. Не выбираем свое тело. Не выбираем темперамент. Не выбираем химию мозга. Не выбираем, где родиться. И самое главное – не выбираем родителей. Последнее мучило ее сильнее всего.

* * *

В субботу Таня как обычно купила продуктов и поехала провести мать. С пакетом наперевес она поднялась на третий этаж и нажала на кнопку звонка. Мать не открыла. Тогда Таня развернулась и постучала в дверь пяткой, как делала в детстве, – за что мать ругала ее, потому что на двери потом оставались следы обуви. Снова ничего. Тихо ворча, Таня поставила пакет на пол, сняла с плеча рюкзак и полезла искать ключи. Нашла, достала, вставила в скважину.

Дверь поддалась, Таня шагнула внутрь и тут же заметила странное – коридор был совершенно пуст, ни этажерки для обуви, ни шкафа, ничего. Только голые стены, а кое-где – в местах, где стояла мебель, – даже обои другого цвета. Таня вышла на лестничную клетку, проверила номер – все верно, седьмая, никакой ошибки, да и ключ ведь подошел. И тем не менее все исчезло: люстры, ковры. Даже розетки. Даже старый болгарский гарнитур с кухни – и того не было. Минут пять – или больше, она точно не помнила, – Таня ходила по пустым комнатам с каким-то тревожным, сновидческим ощущением, будто из одной реальности случайно провалилась в другую, соседнюю. Увидела в ванне кучку пепла – старые фотографии. Не все прогорели дотла, обгоревшие куски лежали на белой эмали. Таня вышла на лестничную клетку и позвонила в восьмую квартиру. В двери защелкали замки – казалось, их там штук тридцать, – затем дверь приоткрылась – совсем чуть-чуть, сантиметров на десять, ровно чтобы просунуть голову, – в проеме появилась голова соседки, бабы Вали. Пару секунд, шурясь, она разглядывала Таню.

– Вам чего?

– Баб Валь, это я, Таня.

– Ой, Танюшка, привет! Как же ты выросла-то, совсем большая! Не узнала тебя, богатой будешь.

Расти Таня перестала классе примерно в восьмом, но баба Валя все равно при каждой встрече сначала не узнавала ее, а затем поражалась тому, как сильно она выросла.

Таня спросила про мать, и баба Валя ответила, что да, всю неделю шумели мне тут, мебель таскали.

– Кто таскал?

– Да откуда мне знать? Люди какие-то. В белых одеждах.

* * *

В отделении полиции Таню направили в кабинет к лейтенанту Зубову. Был обед, и в кабинете пахло супом быстрого приготовления. Сам лейтенант Зубов был, что называется, человек без острых углов – пузо расперло рубаху, вот-вот пуговицы поотлетают. Таня обратила внимание на его ладони – фактурой и цветом они напоминали слегка поджаренные ломти белого хлеба, – и Таня на секунду представила, как он по утрам засовывает их в тостер и тут же поймала себя на мысли о том, какая дурацкая у нее все-таки фантазия. Почти каждое свое движение лейтенант Зубов сопровождал характерным вздохом: присаживаясь на стул, говорил «оп-па!» с таким видом, словно только что выполнил сложный акробатический трюк; вставание со стула сопровождалось напряженным «о-о-х», так тяжело ему было поднимать и передвигать себя в пространстве. Он слушал историю Тани с таким видом, словно его отвлекли от более интересного и важного дела, пару раз просил подождать, выходил куда-то, затем возвращался, с облегчением садился на стул – «оп-па!» – и говорил, что заявление писать пока рано. «Если через 48 часов не объявится, тогда и приходите». Таня спокойно отвечала, что правило «48 часов» уже давно отменили и по закону заявить о пропаже человека, особенно пожилого, особенно если вместе с человеком пропала вся мебель, можно и нужно как можно раньше, потому что каждая минута на счету. «Не хотите принимать заявление, пишите отказ», – сказала Таня. От этих слов лейтенант Зубов поморщился так, словно ему нанесли смертельное оскорбление, пробормотал что-то вроде «развелось грамотных» и протянул Тане чистый лист и ручку, пишите, мол, свое заявление, раз уж так не терпится.

Тем же вечером Таня вернулась в квартиру матери, чтобы еще раз перепроверить, не пропустила ли чего. Когда заходила в подъезд, под потолком увидела черный глазок камеры наблюдения. Позвонила в управу, спросила. Нет, камера не муляж, ответили ей, и поставили ее не менты, а местное ТСЖ, так что да, запись можно получить у дежурного.

Запись была черно-белая и зернистая. В кадре: двое мужчин заходят в подъезд, оба одеты опрятно, даже слишком опрятно. Затем перемотка – спустя 15 минут те же двое мужчин несут сумки к выходу, один из них придерживает тяжелую металлическую дверь, пропуская мать. Все трое садятся в такси. Таня записала номер и позвонила в службу сервиса.

«Два дня назад у вас был вызов, машина с номером 273. Одним из пассажиров была моя мать, с тех пор она не выходила на связь. Я хотела бы выяснить пункт назначения той поездки. Это возможно?»

«Одну минуту, – сказала девушка из службы сервиса, и в трубке заиграла „Весна“ Вивальди, затем, почти ровно через минуту – снова голос девушки. – Диктую адрес. Московская область, поселок Куприно. Поездка оплачена наличными. Могу выслать точку геолокации».

* * *

Таня вернулась в полицию и рассказала о своем небольшом расследовании.

– Ну вот видите, – обрадовался лейтенант Зубов, – а вы переживали. Заявление вон еще написали! Погодите, сейчас найду его.

– Зачем? – спросила Таня.

– Как это зачем? Заберете. Мать же нашлась.

Таня тяжело выдохнула и, с трудом подбирая вежливые выражения, сообщила лейтенанту Зубову, что забирать заявление не собирается, что мать еще не нашлась и что с ней там сделали, в этом Куприне, пока неизвестно – надо как минимум съездить на место и выяснить.

– Ну вот и съездите, чего вы? – сказал лейтенант.

– Вы издеваетесь, да? – Таня как могла спокойно объяснила лейтенанту свои права и его обязанности. Лейтенант слушал ее с выражением «вас много, а я один» на лице, потом поднялся со стула и утащил свое туловище в соседний кабинет. Через минуту вернулся, но не один, а в компании другого лейтенанта. Этот был широкоплеч, гладко выбрит, опрятен и на удивление вменяем.

Два лейтенанта коротко посоветовались.

– Скажите, – обратился к Тане новый лейтенант, – может быть, вы заметили дома что-то странное? Например, кучку пепла в раковине или типа того?

Таню замутило. Да, сказала она, в ванне лежали какие-то сожженные фотографии. Лейтенанты переглянулись, и новый лейтенант пожал плечами.

– Тогда все ясно, – сказал он. – Ваша мама в гаринской общине.

– Вот видите, а вы переживали, – сказал лейтенант Зубов.

– Что такое гаринская община? – спросила Таня.

– Коммуна у них там, – сказал худой лейтенант и, заметив, как Таня изменилась в лице, поспешил добавить: – Да не пугайтесь вы. Все с ней нормально. Они не фанатики, ничего такого. Безобидные дурачки, типа амишей или мормонов. Занимаются земледелием, не признают финансовую систему и не пользуются технологиями. Луддиты. Община у них в шаге от Куприно.

– Вот видите, – сказал лейтенант Зубов. – Все хорошо с вашей мамашей. Сейчас найду ваше заявление, заберете.

Дальнейшее Таня помнила плохо. Было ясно, что делать лейтенанты ничего не собираются, потому что «закон не нарушен», ничем противоправным означенная община не занимается, разве что у них там веганская диета, «но за это у нас пока не сажают, – сказал лейтенант Зубов и, усмехнувшись, добавил: – Хотя, будь моя воля...» – и, хихикая, толкнул второго лейтенанта локтем в бок, но тот шутку не оценил.

Потом Таню провожали к выходу из отделения. Она шла по тусклому и длинному коридору, ее тошнило, и ей казалось, что пол раскачивается под ногами, как палуба во время шторма.

* * *

Путь в Куприно по пробкам занял полтора часа. Тут ее ждали дачные домики, заборы из профнастила и штaketника и ямы на дорогах, засыпанные битым кирпичом. Таня остановилась возле магазинчика с надписью «Гастроном 24», зашла купить воды и, как бы между делом, спросила у кассирши, не знает ли она, где тут гаринская община. Кассирша буднично пожала плечами, словно уже давно привыкла к подобным вопросам, и показала пальцем себе за спину: на втором светофоре налево, дальше до упора, потом через новый мост и снова налево вдоль берега. Там уж не промахнетесь. Затем спросила у Тани, не журналистка ли она. Таня не услышала в вопросе никакой агрессии, поэтому на всякий случай кивнула.

– У вас ничего не выйдет, – все так же буднично сказала кассирша, отсчитывая сдачу. Таня смотрела на ее пухлые белые руки – ямочки у основания каждого пальца, нарощенные розовые ногти. – Вы нездешняя. Они не разговаривают с нездешними. Тем более с журналистами. У них строгие правила.

– А вы там были?

– Была на пляже. Они туда приходят иногда, белье стирают.

– А они давно там вообще обосновались?

– С тех пор, как новый мост построили, – сказала кассирша таким тоном, словно день окончания строительства нового моста – это какое-то универсальное знание, известное даже приезжим.

Тут звякнул колокольчик над входной дверью, и в магазин вошла какая-то тетка. На вид лет пятьдесят, с короткими ядерно-рыжими волосами и явно нарисованными черными бровями. Кассирша бросила на нее взгляд, торопливо насыпала в ладонь Тане сдачу и сказала «спасибо за покупку» так торопливо, что стало ясно – при этой тетке разговаривать она не хочет.

Таня вернулась в машину и проехала дальше по улице, пытаясь найти «второй светофор», но его не было. Она развернулась и двинулась обратно, но на пороге магазина увидела ту самую рыжую тетку – она пыталась разглядеть номер ее автомобиля, причем так явно, что Тане стало не по себе. Она проехала мимо и в зеркало увидела, как тетка смотрит ей вслед. Еще немного покаталась по центральной улице, заметила двух мамаш на детской площадке. Они сидели на лавочке и оживленно беседовали, пока их дети копались в песочнице – один из них совком насыпал песок в капюшон другому; но тот, другой, кажется, был не против. Когда Таня остановила машину, мамыши замолчали и посмотрели на нее так, словно вообще впервые увидели живого человека.

«Все нормально, перестань себя накручивать. Это просто поселок в Подмосковье», – сказала себе Таня, хотела выйти и спросить у них дорогу, но, бросив взгляд в зеркало заднего вида, поежилась – тетка с неестественно-рыжими волосами шла к машине, припадая на левую ногу. Таня заблокировала двери.

Тетка остановилась возле нее, наклонилась к окну, улыбнулась, помахала рукой. Таня нажала кнопку, окно опустилось, и тетка тут же сунула внутрь руку.

– Добрый вечер! Меня зовут Валентина, мне Нина сказала, что вы ищете Чашу.

– Э-э-м, в смысле, общину? Да, ищу. Я немного заблудилась. Она сказала повернуть налево после второго светофора, но я чего-то не могу его найти. Светофор.

– Ой, да, здесь черт ногу ломает. Вроде Москва в двух шагах, а чуть отъедешь и сразу дебри. Знаете, а я как раз в Чашу и подумала, что раз вы тоже, то можно и меня – того, а? Я дорогу покажу, здесь недалеко.

Не дожидаясь ответа, тетка обошла машину и начала дергать за ручку, заглянула в окно и показала пальцем на замок, мол, откройте же, ну.

Таня тяжело выдохнула и разблокировала дверь. Тетка села, и салон тут же наполнился запахом пота и грязных носков.

Валентина оказалась болтливой – рассказала, как ее муж два года назад «вошел в Чашу». Муж, говорила она, пил беспробудно, распускал руки, раз в год «кодировался», лежал в «трезвянке», и хоть бы хны. Выходил, держался месяц и опять за старое. «А потом вошел в Чашу», – сказала Валентина совсем другим, полным благоговения голосом, – и жизнь сразу наладилась. Вот прям сразу. Он как другой человек, меня, говорит, близость к земле спасает, когда ты занят настоящим трудом, у тебя просто нет времени на выпивку и прочее непотребство.

– Вы часто его навещаете? – спросила Таня, когда они проезжали по мосту через реку.

– Часто.

– А сами не хотите, эмм, «войти в Чашу»?

– Я пока не готова, – очень серьезно сказала Валентина и даже вдруг замолчала, словно хотела паузой дополнительно обозначить серьезность своих слов.

Они проехали по новому мосту и свернули налево, к пляжу – или к тому, что местные называли пляжем, – и Таня увидела женщин, которые стояли в воде по пояс и полоскали простыни. Она пригляделась – и стала притормаживать.

– А чего это вы тормозите? – сказала Валентина. – Мы еще не того, не приехали, я скажу когда.

Но Таня уже дернула ручник, открыла дверь и направилась к берегу. Пока ехала сюда из Москвы, стояла в пробке, много раз репетировала речь, представляла, как будет стыдить мать за то, что та ведет себя как капризный ребенок, за то, что сбежала, опустошила квартиру, а мать будет отбрехиваться, как обычно, кричать на нее, а потом просто скажет «ну чего ты опять начинаешь, я же тебя люблю». А потом, представляла себе Таня, она схватит мать за запястье и силой потащит к машине, а если та начнет упираться, вмажет ей пощечину, чтоб в себя уже пришла, дура. Таня была уверена, что сцена их встречи будет громкой и брутальной. Но теперь она шла к реке по темному пляжному песку и чувствовала, что вся злость улетучилась – остался только страх. Потому что мать выглядела совсем не так, как она представляла. На матери был какой-то льняной сарафан, и она полоскала белую простыню с таким сосредоточенным видом, словно обдумывала решающий ход в шахматной партии.

– Мам.

Мать подняла голову, посмотрела на дочь – и ничего, спокойно продолжала заниматься своим делом. Две другие женщины в водяном потоке точно так же не обратили на Таню никакого внимания, как будто глухие. Они вели себя так, словно занимались самым важным делом в своей жизни. Еще две женщины, помоложе, стояли на пирсе и складывали простыни в тазы. Эти посматривали в сторону Тани, но тоже без особого энтузиазма.

– Мам!

– Ну что ты мамкаешь? Я отлично слышу.

Мать была по пояс в темно-зеленой воде, в пяти метрах от берега, и Таня очень остро чувствовала ее недостижимость. Стояла у кромки воды, переступая с ноги на ногу. Она увидела себя глазами этих женщин с пирса. Стоит какая-то девка в джинсах, в белых кроссовках и мамкает. Беспомощная, жалкая. Таня поняла, что здесь, на этом пляже у нее нет никакой власти. Всем своим видом, своим угрюмым равнодушием мать давала понять, кто здесь главный.

– Мам, давай поговорим.

Еще полчаса назад Таня планировала начать разговор с фразы: «Ты совсем охренела?» – а теперь стоит, мнется на берегу и мямлит что-то, просит. Мать на секунду бросила на нее взгляд и снова отвернулась. И Таня поняла, что проиграла и сегодня уедет домой одна; что все гораздо хуже, сложнее, чем она предполагала.

– О чем? – спросила мать.

– Может, выйдешь на берег хотя бы?

– Я занята.

Таня зажмурилась. Она массировала переносицу и медленно перебирала варианты реплик в голове – все были бесполезны. Чувство обиды и беспомощности было таким сильным, что казалось – еще чуть-чуть, и она заплачет.

– Я не знаю, что сказать, – развела руками, – просто хотела узнать, почему ты сбежала.

– Куда это я сбежала? – спросила мать, которая все так же сосредоточенно плескала простыню в речном потоке. – Разве по мне похоже, что я сбежала? Я и бегать-то не могу с известных пор.

– Ты знаешь, о чем я. Могла бы как-то предупредить, я не знаю. Я испугалась. Думала, тебя похитили или чего похуже.

Мать фыркнула. Ничего не ответила. По реке поплыл туман. Женщины на пирсе складывали простыни и собирали их в большие деревянные тазы. Таня продолжала мысленно перебирать в голове слова – так медвежатник перебирает отмычки, склонившись над особенно сложным замком. Должна же тут найтись какая-то комбинация слов, которая заставит мать хотя бы выйти наконец из реки, а в идеале сесть в машину и вернуться домой.

– Езжай домой, – сказала мать, – уже темнеет.

– А ты?

– А у меня все хорошо.

– Я могу тебя подождать, и мы поедем вместе.

– Нет.

– Почему?

– Потому. Я теперь здесь живу.

* * *

Всю дорогу обратно, в Москву, она вертела в голове диалог с матерью и все сильнее злилась. Лупила по рулю и разговаривала вслух, так, словно мать сидела в соседнем кресле: «Значит вот как, да? Живешь там теперь, значит! Какая же ты овца, господи. Как это возможно вообще – быть настолько тупой овцой! Ты хоть представляешь, как меня достало все это? Как достало тебя спасать! Может, оно и к лучшему, что ты теперь там. Пусть они теперь сами с тобой возятся. Скатертью дорога, блин!»

И тут же осеклась, одернула себя: «Неужели я правда так думаю?»

Уже вечером снова явилась в отделение полиции. Лейтенант Зубов был на месте и, увидев ее на пороге, тихо застонал. Таня попросила позвать того, другого лейтенанта – его имя она не могла вспомнить, все-таки память на имена у нее ужасная; или, возможно, он сам не представился в первый раз. Лейтенант Зубов поднялся со стула – снова с тяжелым «ох-хо-хо» – и унес свое туловище в соседний кабинет. Когда в дверях появился тот другой лейтенант, Таня спросила, откуда он узнал про пепел в ванне?

– У них это что-то вроде посвящения. Последний шаг перед вступлением в общину. Прежде чем переселиться в новый дом, ты должен в старом доме уничтожить все свои фотографии, рисунки, все изображения с собой. Попрощаться с прошлым.

Таня спросила, зачем? Он пожал плечами: говорю же, ритуал. Я их не изучаю. Но вы знали про пепел, сказала Таня. Это четвертый случай с начала года, ответил он. Они все оди-

наковые, вот и запомнил. Люди приходят, пишут заявление о пропаже родственника, затем родственник быстро находится в общине за Куприно, жив-цел-здоров. Мы тут ничего сделать не можем, закон не нарушен, все там по собственной воле.

– Но вы же сами говорите, что это секта. Разве секты не запрещены?

Лейтенант устало опустил на стул напротив нее и выдохнул.

– Секты – не моя работа. Моя работа – следить за соблюдением закона. И в данном случае закон не нарушен. Мы ездили в общину, говорили с людьми, они не готовятся к концу света, не занимаются жертвоприношениями, просто толпа безобидных дурачков, которые решили вместе ненавидеть технологии.

Таня вернулась домой – к себе домой, – хотела включить компьютер и хоть что-то прочесть об этой общине, но так устала за день, что не могла сфокусировать взгляд на экране. Решила вздремнуть – и проспала до следующего утра.

Ей снилось, что она несет домой огромный холщовый мешок, который увеличивается с каждым шагом. В мешке что-то шевелится, дергается и каркает. Проснувшись, Таня от неприятного ощущения, что кто-то подглядывает за ней из этого самого мешка. Проснувшись, подошла к окну, оглядела улицу и задернула штору. Ощущение чужого взгляда ушло не сразу.

Таня взяла ноутбук, включила – и тут же первое открытие: о гаринской общине в Сети ни слова. А на запрос «Юрий Гарин» гугл упрямо переспрашивал: «Возможно, вы имели в виду „Юрий Гагарин“?» и выдавал ворох фотографий смеющегося космонавта. «Нет, – вслух отвечала Таня гуглу, – мне нужен именно „Гарин“». На что гугл выдавал целую пачку нерелевантных ссылок на соцсети и случайные совпадения – по всей России людей с именем «Юрий» и фамилией «Гарин» было не меньше семидесяти. Запросы вроде «Юрий Гарин община» и «Юрий Гарин Куприно» вывели ее на давно заброшенные форумы о сектах. Стало ясно – по хорошему не получится.

Она гуглила все утро, находила такое, что волосы дыбом. Читала статьи, одну за другой, и не могла остановиться.

– 18 ноября 1978 года, 918 человек из общины «Храма народов» совершили массовое самоубийство. Основатель «Храма» Джим Джонс убедил их принять цианид. Люди умирали в страшных мучениях. Тех, кто отказывался принять яд, убивали выстрелом в затылок.

– октябрь 1994 года, массовое самоубийство совершили 74 человека из «Ордена храма солнца», сразу в двух городах в Швейцарии и в одном – в Канаде.

– 26 марта 1997 года покончили с собой 39 членов объединения «Небесные врата». Каждый из них глотал барбитураты, запивал их водкой и отключался, а потом на голову ему надевали пакет, и он задыхался – так, по их версии, выглядел уход в рай.

Все эти статьи, числа, подробности – все это причиняло Тане почти физическую боль, но она не могла отвести взгляд, листала статьи и зачем-то выписывала в тетрадь даты, годы, числа, имена, количество жертв – как будто все это могло помочь ей в ее собственной беде.

– 17 марта 2000 года – еще один случай в Уганде – 778 членов «Движения за восстановление десяти заповедей Бога» были убиты или доведены до самоубийства. Около 500 человек были заперты в ангаре и сожжены заживо во время молитвы по приказу лидера культа. И далее – во время расследования обнаружено несколько братских могил. Одних задушили четками, других зарубили топором.

Тут ей стало совсем тошно, она заставила себя закрыть все вкладки со статьями о сектах, открыла мессенджер и увидела десяток пропущенных сообщений от Ильи. Она уже несколько дней игнорировала его – была слишком зла за то, что он рассказал матери о киношколе. Открыла чат и, не читая его сообщения, написала:

Таня: Прости, мне сейчас вообще не до тебя. Давай как-то помолчим. Я сама напишу.

Отправила и тут же пожалела, но было поздно. Закрыла мессенджер. Открыла почту и увидела непрочитанное письмо – сообщение из киношколы. Второй семестр подходил к

концу, и каждый студент в ее группе должен был в качестве промежуточной работы написать и сдать так называемую «заявку-синопсис» короткометражного фильма с описанием темы, идеи, героев и цели проекта. Таня уже написала две заявки, но ее мастер, Александр Дмитрич, отверг обе, ресчеркав ее тексты красной ручкой так, что она сама покраснела до кончиков ушей, когда увидела его заметки на полях «СЛАБО!!!!!!», «ЗАЧЕМ ЭТО ТУТ???!!?», «ЭТО НЕ ТЕМА!!!!!!», «ПЕРЕЧИТАЙ КОНСПЕКТ!!!!!!». Его комментарии всегда выглядели так, словно он страшно недоволен и орет на тебя, что было иронично, потому что в жизни он был человеком очень спокойным и деликатным и, судя по всему, в силу возраста даже не подозревал о том, как грубо смотрятся все эти написанные капслоком и снабженные пятью-шестью знаками вопроса примечания. Таня открыла письмо от Александра Дмитрича:

ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА!!!!

К сожалению, вынужден напомнить, что все возможные сроки и отсрочки подачи заявок уже подошли к концу. Завтра в полдень мне необходимо сдать ведомости!!!!

С УВАЖЕНИЕМ!!!!

А.Д.

Таня выругалась, пару минут смотрела на экран, потом открыла текстовый редактор и совершенно неожиданно для самой себя написала:

Тема: отношения матери и дочери.

Сюжет: уход матери в секту заставляет дочь заняться расследованием и в процессе переосмыслить семейные ценности и отношения.

Таня писала весь день, печатала абзац, стирала, начинала сначала, и, к ее собственному удивлению, это имело эффект. Проговаривание своей беды в виде заявки для зачета помогало лучше понять и разглядеть петлю, в которой она оказалась. В итоге, за три часа отщелкав на клавиатуре необходимый для заявки объем текста, она сохранила файл, прикрепила его к письму и нажала «отправить», даже не потрудившись хоть что-то написать в самом «теле» письма. Чувство беспомощности было таким сильным, что мысль об отчислении ее не пугала, наоборот, казалась соблазнительной. Она уже представляла, как ее выгоняют из киношколы и как ей будет жалко себя, и, думая об этом, испытывала мазохистское наслаждение.

Она открыла чат с сестрой и написала ей сообщение:

Таня: привет, надо поговорить.

Лера прочла сообщение, но прошло пять минут, а ответа не было. Таня написала еще.

Таня: Ау? (и грустный эмодзи)

Снова ничего.

Она потянулась к телефону и набрала номер. Лера ответила не сразу и как обычно:

– Тань, я вижу твои сообщения, я занята. Мы же договаривались...

– Мама ушла в секту.

Пауза.

– Что?

Таня шмыгнула носом.

– Мама. Ушла. В секту.

– Я не понимаю, куда ушла? Говори громче, чего ты мямлишь опять?

– В секту! – закричала Таня. – В секту ушла! Мама – ушла – в секту!

Снова пауза.

– Типа «Иеговых», или что? Не пойму, в какую секту?

Таня кратко пересказала все, что смогла выяснить. На линии снова повисла тишина.

– В полицию ходила?

– Ходила.

– Что сказали?

– «Когда убьют, тогда и приходите». Что они еще скажут.

Опять пауза.

– Слушай, я сейчас правда не могу говорить. Перезвоню как освобожусь, хорошо?

Щелчок, гудки. Таня отложила телефон и оглядела комнату. Подошла к окну, осмотрела его, увидела пятна. Сходила в ванную, набрала в таз воды, взяла губку, вымыла стекла. Затем вымыла пол, перемыла посуду, даже чистую, еще раз вымыла пол, вымыла плитку, вымыла пол, достала из шкафа и перебрала все вещи и еще раз вымыла пол. Передвинула диван и вымыла пол под ним. Передвинула кровать и вымыла пол под ней. И еще раз вымыла пол. И еще раз вымыла пол. И еще раз вымыла пол. Кожа на ладонях саднила, но Таня не могла остановиться – все время замечала на полу новые пятна, следы, пропущенные места. Она где-то читала о смещенной активности у животных: когда чайка видит, что ее гнездо пытается разворошить крупный хищник, и отогнать его нет никаких шансов, чайка просто садится рядом и начинает чистить перья, пока хищник уничтожает ее дом и потомство. Чистка перьев – бессмысленное действие, эта защитная реакция мозга на безвыходную ситуацию. Таня надеялась, что это работает и с ней, и бесконечная уборка поможет ей снизить тревожность, хоть как-то приглушит тоску, но тщетно: споласкивая тряпку в тазу, она, как четки, перебирала в голове числа: 918, 74, 39, 778, отравление, сожжение, цианистый калий, выстрел в затылок, барбитураты, пакет на голову, зарин.

Она гладила постельное белье, когда зазвонил телефон. Голос сестры.

– Так, я уже в аэропорту, перелет долгий, буду часов через девять-десять. Давай еще раз и по порядку – что случилось, какая секта?

Таня сперва даже не поняла, о каком аэропорте говорит Лера и куда собралась, – секунд десять молчала, пытаясь сообразить, что происходит.

– Алло? – Лера повысила голос. – Ты там? Да что, блин, со связью сегодня.

– Я здесь, – сказала Таня и вдруг разрыдалась, громко, по-детски, с огромными текущими по щекам слезами. Слезы эти саму ее удивили даже больше, чем сестру.

– Прости меня, мне так плохо, – сказала она в трубку, вытирая слезы тыльной стороной ладони, чувствуя одновременно и стыд, и облегчение. – Прости меня.

– Танюш, ну ты чего?

– Я думала, тебе плевать. Когда ты сказала, что занята, я очень плохо про тебя подумала. Я думала, ты меня бросила.

В трубке раздался тяжелый вздох.

– Что ж.

– Ты правда приедешь?

– Я в аэропорту во Владике, уже контроль прошла, жду посадки.

Таня больше не плакала, ей полегчало. Поговорив с сестрой, она снова села за компьютер и увидела непрочитанное письмо в почте – от Александра Дмитрича:

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!! Зачет ваш. К осени жду полноценный сценарий и первую сборку, хрон +- 10–15 минут. Не терпится узнать, чем закончится эта история!!!!

«А уж мне как не терпится», – подумала Таня.

* * *

Сестру Таня не видела почти два года, поэтому, встретив ее в аэропорту, не поверила глазам. Лера не просто изменилась, она, – как бы это сказать поточнее, – словно изобрела себя

заново. Вместо непослушных кудрей теперь прямое черное каре до плеч; очки в толстой черной оправе, брекеты на зубах. И взгляд тоже другой – спокойный и совсем уже взрослый.

Само появление старшей сестры, казалось, придало Тане сил – как будто Лерина уверенность была заразна и передалась ей – Таня почувствовала себя более собранной, более смелой – и сразу стала соображать, что делать дальше? Еще пока ехали в такси из аэропорта и обсуждали возможные варианты, она подумала, что первым делом, пожалуй, нужно отправить запрос в Росреестр, чтобы узнать, на кого мать переписала квартиру, а также – кому принадлежит земля под Куприно – это будет полезно, как минимум станет ясно, с кем мы имеем дело.

Ответ из Росреестра пришел довольно быстро: сотни гектаров земли под Куприно, в бывшем дачном поселке Исаково-2, были записаны на фирму ООО «Чаща», принадлежащую некому Григорию Николаевичу Тушину.

– То есть живут они на территории, принадлежащей подставной фирме. Просто замечательно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.